Алексей ГРИГОРЕНКО

ЗАПИСКИ СЕРОШТАНА,

или

АНАЛОГОВЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Роман-диалог

Памяти тех, кто ушел

Глава 1. МИШКИНА СМЕРТЬ

Что же все это напомнило тебе, Сероштан? Будто стоишь на берегу глубокой и быстрой реки и смотришь на воду, текущую мимо тебя, несущую в непокойной и мутной стремнине всяческий сор, палые листья прошедшей осенней поры, черные ветки и щепки, серые полиэтиленовые пакеты от минувших давно пикников, смятые пластиковые стаканы — вино из них выпито, тосты и пожелания угасли, забылись, едва были произнесены в глухое пространство, — и надо бы ступить тебе в эту ледяную, холодную воду, войти в реку памяти дважды, перебраться на другой берег, — и это ли то, что называется никакой твоей жизнью?.. Но что тебя ждет там, на другом берегу?..

А я ведь давным-давно забыл и о Мишке, и даже о Егоре, своем однокашнике по институту, — из той компании «писательских деток» одна Аня Умка Герасимова все коптит московское небо концертами, наглыми песенками и скоморошескими стишатами, — я забыл и обо всем, что происходило с нами в давние годы, когда мы были молоды, самонадеянны и безоглядны. Да и мы ли то были? Или приснилось-привиделось?

Притомился ты, Сероштан, на весеннем солнышке, вскапывая гряду под морковь, прикорнул, а когда проснулся — жизнь твоя и прошла. Да так, что и нечего вспомнить.

Пестра лента «Фейсбука», тошнит уже от этого обилия информации, от мегатонн дурацкого или страшного видео, от гражданской войны на Донбассе и от неизбывных котиков и собачек, — но как гром среди ясного неба просквозило от Умки истошное, что и Мишка вот помер, отстал от Егора ее на несколько лет, а ныне они уже вместе в небесных обителях... А эта отчаянность понятно откуда: ведь девчонкой, вчерашней школьницей пришла она в наш Литинститут, — я был уже тогда второкурсником, — занималась потом в аспирантуре обэриутами, переводила с литовского, как ее папа с мамой, хипповала, куролесила автостопом по стране: горный Крым, лагуны, палаточные бивуаки, свободная любовь, отдайте Ирландию ирландцам, руки прочь от группы «Доверие», кафе «Аромат», потом заголосила не по-детски, — как-то я ее даже по телевизору в темной яме 1990-х годов видел с Арефьевой вместе, забыл только, как та передача называлась, черно-белая такая, ведущий еще на подобии готического трона

там восседал; между делом родила сына от Егора, а ныне вот уже и бабушкой стала, таскает внука Платона на рок-концерты свои.

Не стареет душой комсомол, как там при коммунистах пели наши эстрадники с оловянными оптимизмом глазами.

Но комсомол к Умке, конечно, касательства не имеет, это я так, к слову досужему своему приплетаю, — имею в виду, что тело наше, да, тело несомненно стареет, а вот душа пребывает юной, и если прилагаешь некие усилия по поступательному просвещению ее, обуздываешь, как можешь, ее норов, так она еще и совершенствуется в каком-то смысле, словом невыразимом, но с телом не так: как бы ты ни берегся от вредных привычек и всего, что с ними сопряжено, как бы ни лелеял свою плоть или, напротив, сколько бы ни тренировал ее упражнениями, все равно *«Дние лет наших, в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет»*, как сказал еще псалмопевец Давид, отдаленный предок нашей Ани Герасимовой. Или как потешались мы, заливаясь «чернилами» с тогдашним моим корефаном Чаной Лебедченко за проходной нашей швейки, ласково называемой «Розочкой», которая была филиалом прославленной на весь подсолнечный мир Лубенской одеяло-войлочной фабрики в пору моих трудовых подвигов в чине и звании наладчика швейных машин: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, — та давай уже, Чана, выковыривай закупорку быстрее: трубы горят!» («г» здесь, разумеется, фрикативное), да разве тогда, в славных нашим озорством и презорством Кобеляках, кто-то о пророке Давиде слыхал?.. Разве только о Дэвиде Боуи, и то эхом отдаленным донесшееся из продвинутого Кременчуга с тамошними дискарями и великовозрастными детками воркутинских шахтеров в клешах и потертой джинсе, чьи отцы осели на пенсиях в новопостроенных кооперативах на от века безлюдных солончаках и песках, ниспадающих к днепровскому синему плесу.

И вот — ты, Анька, все еще молода и даже, как кажется, все еще полна сил, и тебя еще многое ждет впереди: ты и напишешь, и сделаешь, и построишь, и пару альбомов запишешь еще к тем 35, которые уже записала (признаюсь, не удосужился послушать ни одного), и еще пару раз слетаешь за океан к тем шестнадцати, что уже там была, и не только российские отдаленные города ждут камерных и одновременно крикливых концертов твоих, но и Вильнюс, где так много постаревших в независимости выстраданной друзей, и Берлин, и Тель-Авив, — а молодежь из обширной тусовки твоей все помирает и помирает, — невидимая рука выхватывает из ваших веселых рядов то одного, то другого, и все, как назло, младше тебя, и что же остается тебе, как не возопить гласом великим, что ты устала уже от этих бесконечных некрологов, — а вот теперь и Мишка, друг твоей первой юности, умер. Да и как?.. В одиночестве беспросветном, — и никого — ни рядом, ни вокруг и нигде... А ведь как любили его!.. Кажется, не было человека, который относился бы к Мишке плохо. Да и все внешнее в их с Егором не разлей вода отрочестве-юности было более чем благополучно: богатые писательские дома на Безбожном, где на заслуженных лаврах почивали знатные бонзы-совписы несокрушимой эпохи застоя, — позади была их голодная, нищая юность, фронт и война (Мишкин, к примеру, отец был из той знаменитой когорты «пишущих лейтенантов», оккупировавших, не хуже чем немец в 1941-м году Кобеляки, литературные полосы со времен оттепели бесноватого кукурузника, до конца жизни возделывавших скудную и скорбную ниву Отечественной войны), одесский припортовой цирк, криминально-блатной и веселый от сивухи «великой октябрьской», круто замешенный гоголем-моголем на не убиваемом никакими репрессиями советских УГРО, ГПУ и ГУЛАГа, а потом и нагрянувшими нежданно-негаданно немецкими национал-социалистами со «шмайсерами» на молодецких грудях и овчарками у колена, романтика Молдаванки и Пересыпи, чуть ли не полным составом перекочевавших (вовремя, надо сказать) в пустую, простерилизованную тщательно «мурками в кожаных тужурках» послереволюционную Москву с тамошнего Привоза — снимать кино про Ленина, танцевать чарльстон, создавать «12 стульев» и советский джаз, петь-воспевать индустриализацию, коллективизацию, счастливую жизнь и первые сталинские пятилетки, а кто-то — чуть раньше —

Ты же о писателях говоришь, Серошта́н?

...— с 14 лет расстреливал русскую темноту на Дальнем Востоке — ядовитые цветы на могилах недальновидных колчаковских мальчиков-офицериков, — да и не только они, разумеется, — отравили затем не одного из сталинских светочей новой социалистической литературы: один заливал все «армяшкой», чередуясь с пребываниями в дурдоме, другой горькую запивал так, что в конце и пулю в висок самому себе залепил, — все боролись в себе с теми мальчишками в погонах, сохранившими верность имперской присяге, своими ровесниками, только мальчишки лежали в Приморской земле, которую осваивали и поднимали на беду своим внукам всего 40 лет назад их деды,

а у этих, изобретателей нового творческого метода — социалистического реализма, — все «кровавые мальчики» стояли перед глазами, по слову поэта. Как было избавиться от них? Очень просто, — по крайней мере так это казалось. Прежде всего: признать свою правоту, сославшись на классиков с их изобретенным законом классовой борьбы не на жизнь, а на смерть: если не ты, то тебя... Затем, если успокоения паче чаяния не наступало, свалить все на того страшного тараканища, — даром что 30 лет молились ему, как нерукотворной иконе и светочу-дару солнечной Грузии: мы-де были винтиками, мы исполняли приказ, мы спасали свои драгоценные шкуры... Но если и после того совесть не давала покоя, надо было выпить самого горького и живительного лекарства и сказать себе и друг другу прямо в глаза: другой классик наш, родимый Ильич, назвал нас прямо так: «На деле это не мозг [нации], а говно», так что уж теперь нам кочевряжиться и жеманничать, — смирись же, гордый человек!..

Это уже реакционер Достоевский сказал, но да уж сохранили от его «Бесов» новые бесы из Цюриха и Одессы советский народ — не печатали и делали вид, что и не было такого романа.

Таков был рецепт. И дальше плыть по течению, как и полагается именованному веществу. Кто мог — тот выживал, не забывая благодарить партию и правительство не только за то, что оставили жить и дышать воздухом великой эпохи, но и за Малеевку, и за Переделкино, и за Пицунду с творческими домами и четырехразовым питанием от пуза, — пиши, тетеха, пока не заставляют киркой Беломорканал обратно закапывать, про *шла собака по роялю*, развлекай комсомольцев-читателей «Юности», а кто не мог — до свиданья, за борт — в смертное забытье, в пыльные схроны письменных столов, за колючую проволоку, на поселения «химиков», а если повезет, с фиктивной (или настоящей) женой-еврейкой до Вены, а далее — везде...

Но на самом деле, я, вероятно, все же утрирую, да и что, в конце концов, особо я понимаю? А тем более тогда что я понимал — в середине 1970-х годов, когда судьба-злодейка (или же чародейка, напротив) забросила меня из наших тихих родных Кобеляков, с берегов снулой Ворсклы и с одеяло-войлочной фабрики имени Розочки Люксембургочки сюда, в этот советский безбашенный Вавилон, в это сущее смешение языков, национальностей, вер и обычаев? Забрось диверсантом сюда тогдашнего моего друга Чану с фальшивым удостоверением управдома или билетера нашего единственного в Кобеляках кинотеатра имени Ворошилова, в котором на последующие 30 лет — до крушения СССР от перестройки и ускорения — главным событием стал показ фильма «Вий» по повести нашего славного земляка Николая Васильевича Гоголя, там где Панночка летает по церкви в гробу, — да Чана здесь, в Вавилоне рекомом, на третий день загнулся бы от заворота кишок на единственной ступеньке чебуречной «Дружба» на Сухаревской или захлебнулся бы левым коньяком в «Мутном глазе» рядом на Сретенке, — это тебе не отгрызать зубами пластмассовую затычку на килограммовой «бомбе» «солнцедара» после работы на «Розочке» и не вливать из горла́, смачно глотая, не прикасаясь к губам ради санитарного фитоконтроля, всю емкость в утробу свою под восхищенными взорами мотористок-девчонок из окрестных сел: отакие хлопцы живут в Кобеляках, Маруся, в нашей Козельщине нихто так не може выжлуктить без отрыву 0,7 живительных и благодатных «чернил», — недаром мы с тобой удрали оттуда сюда!.. Вот они, наши принцы на белых конях!..

Ну и паскуда же ты, Серошта́н, что разговорился так непотребно? Не отвлекайся от темы, дружок, знаю я подоплеку словесного базара сего: Чана, приятель твой из Кобеляков, давным-давно отбыл в небесные эмпиреи давать отчет о количестве выпитого, выкуренного и украденного с одеяльно-войлочной фабрики бессмертной в народной памяти революционерочки Розочки Люксембургочки то ли Богу, то ли покровителю и сотаннику своему, чьего имени не буду я поминать, — ты просто завидуешь тем, кто пришел пожинать урожай с посеянного в неправде отцами и дедами...

А как еще экспозицию мне развернуть перед повествованием о быте в писательских домах на Безбожном и на Астраханском, где и препроводили дни своей жизни друзья Егор с Мишкой? Надо же хотя бы в общих чертах обозначить и дома эти славные на метро «Проспект Мира», и структуру Союза писателей СССР с его могучим Литфондом, да и наш Литинститут, единственное и крохотное учебное заведение Союза писателей на 100 человек, заблудившихся во враждебных вихрях эпохи с горстью замечательных профессоров, и недоступный для нас, студентов, Центральный дом литераторов на улице Герцена со знаменитым «Пестрым залом», где стояли в очереди в буфет, потом сидели за столиками в нескончаемых спорах о литературе, а затем и лежали под расписными стенами в алкогольной задумчивости пока что живые еще классики и творцы социалистического реализма для самой читающей в мире страны.

Ну а что с Мишкиной музыкой?

Глава 2. ОГОЛТЕЛАЯ ЭСТРАДА СОВЕТОВ

Тут прежде еще надобно рассказать поподробнее, чем была, что есть и чем еще, надеюсь я, будет музыка, о которой здесь разговор. Но не та, про которую тянулось козлиным блеяньем в песне *«Остановите музыку, остановите музыку! \ Прошу вас я, прошу вас я! \ С другим танцует девушка моя!»* какого-то Тыниса Мяги — кто помнит исполнителя такого и песню такую? Разве что завклубом имени Климента Ворошилова Сократ Иванович Фрумкин и главный редактор многотиражки «Коммунист Кобеляков», почетный чекист, который видел Ленина то ли в Горках в параличе и с идиотическим взглядом, то ли на Финляндском вокзале верхом на броневике, то ли на субботнике с бревном на плече, — а, кажется, это он и подтолкнул под локоток Фаню Каплан, и она промазала тогда из браунинга по вождю, — Фрумкин горестно сокрушался в перестройку и ускорение, как прогадили все светлое, за что он кровь почетным донором проливал бесконечно на фронтах непримиримой борьбы с миром капитала, да и не спросить ныне его — в 1990-е годы уехал из рухнувших в мелкотравчатый сникерсовый капитализм Кобеляков к национал-социалистам в Германию и где-то под славным городом Мюнхеном заслуженно получает от внучки гестаповца Меркельши нехилый пенсион и социал за Холокост и Майданек одновременно и рассказывает недобитым вермахтовцам про Ленина, про Фаню Каплан и, может быть, даже про Тыниса Мяги, с которым он тоже боролся, как с исчадием разложения молодежи, — да и разве мог комсомолец и молодой коммунист, строитель светлого будущего, носить такое подозрительное иностранное имя? — нет-нет, не про такую музыку, которую, конечно же, спору нет никакого, надо было во что бы то ни стало остановить ради ее тошнотворности, — тут я согласен с почетным чекистом и мюнхенским пенсионером товарищем Фрумкиным, — просто с разных наблюдательных вышек мы с ним взирали на это и слушали недоуменно звуки той *«му»*, — но я ныне о той музыке говорю, начало которой емко и точно описал мой добрый друг, украинский писатель Владимир Диброва в своем первом сборнике 1990 года с характерным названием «Песни Битлз». Тут придется мне перевести с украинского:

«От прикосновения корундовой иголки ребра-кости на снимке зашкворчали, и черная яичница закрутилась. С унитазов на нас зашипели внешние вороги. Дядьки-дружинники и милиция бросились их душить. Под рельсами стонали и корчились несколько поколений несмешных юмористов. Когда вдруг с криком — one, two, three, four! — раскидав всю эту кодлу и кутерьму, в нашу хату ворвалась свобода».

Конечно, вряд ли сегодняшний юноша поймет, о чем тут повествует Владимир Диброва: другая ныне свобода, и никуда врываться не надо — ткни пальцем в первую попавшуюся кнопку на компе, и на две предстоящие жизни хватит тебе по паре минут из каждого трека новинок текущего года слушать музыкальную продукцию со всего мира. И не надо ничего покупать, нигде регистрироваться, ни у кого просить, не надо и имена запоминать: исполнители сами в очередь еще выстроятся, за горизонт простирающуюся — послушай нас, послушай, удели минуту внимания! Ведь для чего мы живем? — сочинять для тебя, лениво возлежащего на продавленном диване со стаканом модифицированного в текилу коммунистического «биомицина», перекормленного как информацией, так и музыкой, — и то, что ты еще все-таки слушаешь музыку и то, что — о чудо, не верим! — еще покупаешь даже cd, несмотря даже на то, что последний музыкальный магазин «Пурпурный легион» на Новокузнецкой давным-давно закрыли за ненадобностью и отсутствием какой-либо внятной торговли, и все по-черному «грабят» музыкальные файлы из интернета...

Ну да, логики и нет никакой. Тут я согласен с тобой, Сероштан, — еще покойный Фрэнк Заппа сказал: «Всю хорошую музыку уже давно написали. Такие парни в париках и с прочими прибамбасами». Но при этом...

В том-то и дело, что при этом сам старина Заппа неустанно сидел в своей студии и сочинял, и записывал, и выдавал на-гора, как стахановец, альбом за альбомом — и только номерных у него, до преждевременной смерти, около сотни, а архив до сих пор жена с детьми не в состоянии разобрать, — там еще на 300 альбомов. И рок, и авангард, и джаз, и барокко — многостаночник великий, жаль, что в 53 года помер. Может, один и достоин был нашего с тобой пристального внимания.

Да и Мартынов еще, не забудь, — предрек ведь не только «смерть композиторов» как особого творческого вида, так и «смерть литературы» в «Пестрых прутьях Иакова», — а сам...

Они такие, наши пророки... Возлюбленные, надо сказать. Не поймешь их — то ли серьезно, то ли прикалываются... Мартынов и музыки немерено написал

замечательной, и книг насочинял десятка три, а то и четыре, — да и каких... Блеск, — как говорила молодая наша Аня Герасимова в свою дохипповую учебную пору на Тверском, 25. Какая тут логика? Ну, я рад, что мы с тобой понимаем друг друга, и хотя весь ток нашей сегодняшней жизни утверждает меня все-таки в правоте как Заппы, так и Мартынова, но что-то подсказывает мне, что иррациональным должно быть решение видимой бессмысленности трепыхания человека в силках этого мира с его вседозволенностью, перенасыщенностью, с шумом и яростью, с калейдоскопичностью, с мегатоннами музыки, ставшей просто фоновым шумом, иль мусором, а ведь когда-то...

Вот-вот, Сероштан, ты ведь об этом и хотел рассказать...

А еще и литературу сюда подверстать... Все-таки не зря же взяли меня, вырвали, можно сказать, из возлюбленных Кобеляков, в наш Литинститут и просветили словом истины заслуженные наши профессора...

Посетуешь, что ли, на 200 романов Донцовой?..

Да что сетовать здесь... Это уже данность. Только не приписывай и с этой дамочкой мне зависти к ее миллионам и миллиардам. Суть ведь не в этом. И при коммунизме, когда писателям платили еще гонорары за публикации, были свои рекордсмены и чемпионы, ловко монетизировавшие предоставленные им невесть кем и загадочным странным образом возможности: Юлиан Семенов, к примеру, или мореман Конецкий, или любимый народом Пикуль, строгальщик невнятных исторических романов, над несуразностью которых потешаются специалисты. Делали свои денежки, но не надувались гонором никаким: не мешайте просто нам зарабатывать на хлеб с маслом и, в конце концов, — уберите Ленина с денег! — но мы-то, студенты Литинститута 1970-80-х годов, знали им настоящую цену, знали, что никакие они не писатели и никакого отношения к художественной литературе не имеют...

Как и эстрадники-комсомольцы к музыке...

Ну да. Презрительно цедили на творческих семинарах: «Это — для журнала «Юность» (т.е. так плох рассказ, что только в той комсомольско-дементьевской клоаке и печатать его, — а мы... ого-го! Только вот — зажимают, не понимают, не дают хода, но — ничего, у нас есть еще время жизни дождаться на своей улице праздника... Конечно, гордыня, конечно, ущемленное самолюбие, конечно, тайно мечталось о той же «Юности», и о... и о... и о... — ладно, не будем блажить по-ослиному и о грустном).

Но не тут-то было, дорогой Сероштан, — пока держали вас до 45 лет в «молодых писателях», пока ожидали вы своей череды написать и опубликовать что-то свое сокровенное и особенное, тут-то и рухнул Союз нерушимый республик свободных, а с ним вместе — ваши издательства, тиражи, гонорары, которых так и не суждено было вам даже понюхать, Союз ваших писателей, дома творчества испарились куда-то, как морок болотный. А рынок оказался пожестче еще мастодонтов социалистического реализма и коммунистических цензоров, и оказались вы, вечно молодые писатели, не то что на улице, но на самых последних задворках несуществующей империи, — говоря другими словами, вас, дураков, опять обманули — посулами и иллюзиями в юности, очередью на издание и просто очередью в ожидании, когда очередной почетный чекист из здания большого Союза и после торжественной панихиды в Дубовом зале возлюбленного ЦДЛ отправится в последний торжественный путь ногами вперед на Ваганьково, а если продавят товарищи из ЦК, так и на Новодевичье отдыхать в яме под мраморной глыбой: спи спокойно, дорогой друг, мы тебя никогда не забудем и пронесем выпавшее из твоей мозолистой от пишущей машинки руки революционное знамя до пределов вселенной и водрузим его вместо факела в лапы Статуи свободы в виду проклятого Манхэттена! Мы — победим!..

А что ты смеешься? — ведь все так и было: когда издох их переделкинский и малеевский коммунизм, полетели гуськом общипанные «коммунисты, вперед!» и «братские гэсы» в обнимку с «детьми Арбата» в вожделенную Америку, которую столь проклинали и с которой вроде бескомпромиссно боролись при бессмертных генсеках, снимая густые сливки повышенных гонораров и клеймя с высоких трибун проклятых империалистов и поджигателей, бренча орденами-медалями, полученными за сплоченность при травле Пастернака, Ахматовой и Солженицына, — причем вот парадокс: выброшенный насильно за границу Солженицын вернулся «обустраивать» ими же разоренную Россию, а «коммунисты, вперед!» ринулись к колбасе и сырам, которые отсутствовали в продовольственном пайке, который, дабы творцы не померли с голода, выдавали им в столе заказов Елисеевского гастронома...

Ну, расскажи еще быль про этого Межирова, когда он без очереди полез за коньяком в Пестром зале...

Но сначала, все же умозрительные «*самолеты*»:

«Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного — невпроворот,
Сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца:
— Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!»

А вот и черед «*девушки*»: могучий пьяный поэт (имя забыл) отбросил Межирова в хвост очереди с трубным гласом: «Коммунисты — назад!», — что весьма символично и симптоматично. Не знаю, накрутили ли соглядатаи в ЦДЛ и чекисты-кураторы из «большого» Союза писателей хвост за такой антисоветский демарш пьяному русскому дураку, пустили ли сверстанный сборник под нож, вычистили ли из списка очередной писательской делегации в Дели или в Камбоджу, — история умалчивает об этом. Но очередной коньяк точно достался русскому богатырю, но не более того, как обычно. Ну а Межиров, кроме прочего, был удостоен — помимо Госпремии 1986 года и мелких брызг от грузин, которых успешно переводил, даже — только не смейся — «Награды президента Соединенных Штатов Америки У.Клинтона»... Это я во всезнающей «Википедии» о нем прочитал, не думай, что измыслил ради того, чтобы обидеть поэта-покойника.

Все-таки, Сероштан, следует на досуге поразмыслить о причинах такой всемирной отзывчивости американских президентов. Может, наши совписовские функционеры делали одну работу с американцами? А народу втирали обратное?

Интересная мысль, но если заняться этой конспирологией, то в болото некое угодишь, там и утопнешь. Здесь много чего можно найти весьма неожиданного, особенно об отечественных рыцарях плаща и кинжала, об их весьма рискованных, спорных и непостижимых умом операциям на некое упреждение: тут тебе и общество «Память», и сын юриста с клоунской партией целой, выскочивший как черт из табакерки с истошными криками, что дойдет до Индийского океана омыть сапоги нового покорителя мира и отменит хождение доллара, только изберите меня президентом, и Русское национальное единство, во главе с таким же примерно «рабочим», как и глава польской «Солидарности» был «электриком» на судоверфи в вольном городе Данциге-Гданьске, зигующее «Слава России!» и печатающее шаг по стилобату Белого дома на Краснопресненской набережной, и внезапное возрождение греко-католиков, и православные братства, и национальные «Рухи» и «Саюдисы», и президентши независимых государств, некогда коммунистки и по совместительству валютные проститутки на ответственных заданиях в столичных гостиницах, и преподаватели академии КГБ, ставшие вдруг такими независимыми демократами и борцами с родным КГБ, что им доверили управлять федеральными телеканалами — только борись и пену погуще взбивай, потом, правда, вскоре каналы забрали, так они вообще стали мучениками режима, страдающими кто в Лондоне, кто в Киеве, кто в Таллине — это, как ты понимаешь, весьма кратенький список...

Лучше не продолжай его, Сероштан, — будешь целее. И так ведь жить тяжело, а ты пытаешься лишить самого себя и меня последних иллюзий...

Да, этими иллюзиями и двигалась наша жизнь до поры... Это правда. Об этих иллюзиях, одной из которых и была Мишкина музыка, я и веду свой рассказ.

Время начать...

Как всегда — с сотворения мира? От Адама и Евы?

Ну, условно, конечно же, Сероштан, — с родных Кобеляков, там твой корень и там закопана метафизическая каша твоего козацкого рода, но только не начинай эту свою излюбленную бодягу про лоцманов, проводивших флотилию из 80 судов Екатерины II в 1787 году, после Кючук-Кайнарджийского мира, когда Крым наконец-то стал нашим, через 9 днепровских порогов и 60 каменных гряд, за что она приказала освободить лоцманские рода от казенных налогов и от рекрутской повинности, а атамана их Мусия Пивторака и его помощника Непокрытенка щедро весьма наградила, — все это ведомо мне, — и про лихих запорожцев-козаков — тоже не надо, про их подвиги в защите веры и кордонов прежде Речи Посполитой, а затем Российской империи, — навязло это твое никчемное историческое знание, — о Чане давай, о Шоне, о Моське — забубенных твоих друзьях-одноклассниках, с которыми ты во втором классе учился курить краденный у отца «Беломор», а в пятом — впервые напились домашнего Моськиного шмурдяка в честь рождения у Шони младшей сестры Мариночки, нынешней крутой

кобелякской бизнес-леди, рассекающей убитые дороги до Полтавы и Комсомольска с Кременчугом на своем RAV-4, — а потом...

Потом мы поперлись как дураки в школу, во вторую смену, и у кабинета завуча Бориса Максимовича как раз и разобрал весьма нас забористый алкоголь: Моська встал на карачки и пополз в угол обширного зала-фойе, который исполнял во время физры роль спортзала, там он наблевал на затоптанные коричневые маты той снедью, которой мы закусывали у меня — 100%, что это был плавленый сырок «Дружба», ничего другого в сельпо у нас не было от сотворения мира и до 1991-го года, когда Кобеляки вместе со всей Украиной освободились от наследия гетмана Богдана Хмельницкого...

Но-но, — мы же договорились — никакой истории...

Шоня заволал на два голоса «Интернационал» на украинском языке:

Повстаньте, гнані і голодні
Робітники усіх країв!
Як у вулкановій безодні,
В серцях у нас клекоче гнів!
Ми всіх катів зітрем на порох...
Повстань же, військо трударів!
Все нам забрав наш лютий ворог,
Щоб все вернути час наспів...

и плашмя рухнул прямо в руки завуча, высунувшегося испуганно отражать антисоветское бандеровское вокальное выступление из своего кабинета, что делал я — просто не помню: в глазах моих плыли разноцветные круги, палуба, как пишет Конецкий, уходила из-под ног, что-то такое я белькотал: про малютку Мариночку Шостак, только что вылупившуюся на улице Ленина, про врагу не сдается наш гордый «Варяг» и про «Розочку Люксембургочку» заодно, где добывали насущный хлеб инженерами мои папа и мама... Борис Максимович, не разглядев за нашими тщедушными спинами усатых и мрачных лесных братьев в вышиванках из западных областей Украины, прорывших подземные ходы от тамошних Бродов до нашенских Кобеляков, увешанных гранатами, ножами и немецкими автоматами системы «шмайсер», приободрился и кликнул на помощь физрука Владимира Васильевича Загоруйко, — и нас быстро нейтрализовали. Моську отнесли на кушетку в медпункт, где он благополучно уснул, а мы с Шоней путались в показаниях о его новорожденной сестре и пытались ответить на вопрос зачем мы напились шмурдяка, и если уж все же напились, то зачем приперлись в школу?

А Чана?

Ну, конечно, без Чаны дело не обошлось, но Чана был двоечником и, выпив за здоровье младенца Мариночки Шостак пару стаканов того пойла, которое притащил Моська, школу решил прогулять и отправился прямиком на Восклу камни в воду бросать, может, даже купался, хотя был месяц апрель юбилейного для торжества коммунизма 1967 года и вода еще совсем не прогрелась, а мы, довольно примерные, хотя не без «троек» в третьей четверти, отправились-таки в школу: звал нас горн пионерский...

Torga, вероятно, и начинались иллюзии?

Да, это так. И двоечник Чана, не имевший иллюзии этой, оказался умнее нас, хорошистов-середнячков. Вскоре с «Розочки» прибыл мой разъяренный отец и уволок меня домой. За Шоней тоже прибыл папаша, грозный, моему не в пример, которому не дали в полной мере и без лишних проблем насладиться счастьем рождения дочери, — старший сын Шоня омрачил этот день навсегда для него. Какая кара постигла Шоню, я точно не знаю. Ну, порка не на жизнь, а на смерть — дядя Леша всегда был неумолим, — это точно. А я провалялся пьяный на диване до вечера — мозги немного прочистились, — затем с «Розочки» вернулась мама, включили нашу гордость — радиолу «Ригонду», за которой ездили специально в Кременчуг, — там на Пушкинской улице был единственный на всю Полтавскую область магазин культтоваров, куда нежданно-негаданно — к баянам, бубнам и балалайкам — завезли невидаль Рижского, почти иностранного, радиозавода. Мама моя была меломанкой и домашней певицей, — когда они со своими сестрами на Самаре под Днепропетровском собирались за пиршественным столом и после рюмки вишневой наливки начинали на три голоса петь народные украинские песни, собиралась вся улица послушать «Галю» и остальной весьма обширный репертуар. С «Ригондой» в комплекте были куплены и несколько пластинок, — знаешь, такого среднего размера, миньоны, не «сорокопятки» крошечные, и не большие «лонгплеи» — да нам тогда и неведомы были такие названия,

это все уж потом имена получило...

А до «Ригонды» — тот желтый ящик фанерный, 1940-х, должно быть, годов, с иглой, подобной гвоздю, и шеллаковые пластинки, ломающиеся от прикосновения, затем и графитовые, которые разлетались в осколки, когда падали на пол, а тот аппарат был настоящей мебелью на кострубатых ножках широких, стоял в углу большой комнаты, а снизу вместилище для пластинок... Да, ты уж там знатно прошарился в детстве...

На том ящике любимый мой диск на 78 оборотов я без конца слушал, как сейчас помню, Леонида Утесова, — между прочим, урожденного кременчужанина из тамошнего многолюдного кагала, — «Песенка об извозчике», потом какой-то советский ВИА перепел ее, но у Утесова лучше звучала она.

Ну вот, возвращаемся все же к нашей новехонькой «Ригонде»: родители связали меня бельевой веревкой, поставили один из тех дисков из магазина культурных товаров на Пушкинской, выкрутили до предела ручку громкости и начали сечь меня, грешного, чередуясь, шлангом от стиральной машины и немецким солдатским ремнем с угловатым имперским красавцем-орлом, отцовым трофеем из-под Берлина. Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон и Эдита Пьеха, а может быть, и сам Эдуард Хиль с «Потолком ледяным» соревновались со мной в громкости звукоизвержения и официозного оптимизма... И сказал я тогда этим ребятам:

— Шоб вы сдохли!..

С тех пор одной иллюзией стало меньше у тебя, я так понимаю...

Правильно понимаешь. То есть, сами того не подозревая, мои родители толкнули меня на скользкую дорожку весьма, — но не алкоголизма какого-нибудь примитивного и тупого, что, вполне вероятно, весьма было желательно для власть имущих той мрачной поры, — а к чему были те бесчисленные цистерны азербайджанского пойла, приправленного для вящего эффекта дустом каким-нибудь, под именем «солнцедара», «партейного», «биомицина», как не для оболванивания работников «Розочки» нашей и совхоза «Красный свиновод» на другом берегу Ворсклы? Хотя, конечно же, и пойлу тому сперва в Кобеляках, затем под Читой, где я в непроходимой тайге на «точке» отдавал почетный долг государству за счастье родиться, жить и умереть в СССР, и затем в краснознаменной и жестокой к приезжему искателю счастья Москве, посвящено было немало дней, забот, сил и некоего вдохновения даже, — но я не о том здесь веду разговор, но о том, что со дня появления на свет Божий бизнес-леди Мариночки Шостак, рассекающей ныне кобелякские степи на RAV-4 в поисках денег, денег и еще много раз денег, для меня, мальчугана и пятиклассника, навсегда перестала существовать советская музыка и радостная до тошноты комсомольская эстрада: словно открылись какие-то внутренние глаза, пришло какое-то понимание — и ведь совсем не по возрасту, да... Но музыку-то я любил и вовсе не перестал любить ее. Что-то сгущалось в воздухе, назревало и набухало, как молочные железы у тети Ани Шостак перед родами рекомой бизнес-леди Мариночки (про это мне Шоня по секрету рассказывал). И я рылся в материнских музыкальных миньонах, которые понемногу прирастали количеством после каждого визита на Пушкинскую в Кременчуге, слушал и слушал странную музыку государств Варшавского договора — руманештов, польские шаловливые песенки, венгров каких-то, но — ты сам понимаешь — не Илиш, не Омегу, не Хунгарию, не Локомотив ГТ — скорее, они еще и не собрались тогда воедино, не выпилили из досок гитары и не подключили их к электричеству, все это было потом, в другую эпоху, которая знаменовалась уже преимущественно тем, что я стал старше и началась моя первая юность...

Не забегай вперед, Серошган, вспомни науку Литинститута: давай по порядку...

Была в том социалистическом музыкальном мусоре на одном из миньонов англоязычная песенка, даже название я не забыл: Shuger town, певичка какая-то сладенькая, как и название песенки, убогая, говоря шершавым языком этого дня, попсятина, но она отчего-то волновала меня, или, быть может, таково свойство было у английского языка? Мы, естественно, учили кое-как в школе английский язык, — но, может быть, сама неординарная личность нашей учительницы Дианы Дмитриевны, которая только что закончила Полтавский пединститут и прибыла по распределению к нам в Кобеляки, несколько отвлекала нас от постижения фонетики и морфологии english: Диана была сущей красавицей просто. Нам с Шоней и Чаной Лебедченко она казалась взрослой весьма: 22 года ей было, наверное, но нам-то в 7-м классе или в 8-м — всего по 14. Но естество уже брало то, что ему причиталось, и зрение полумальчика-полумужчины уже отмечало существенные и потрясающие детали юной учительницы, — прежде всего удивительный белый цвет ее кожи, тяжелые каштановые волосы, заплетенные в толстую косу и обвитые вокруг головы, высокую красивую шею, карие

с прищуром жестоким глаза, носик, украшенный необходимым и пропорциональным количеством светлых веснушек, хищный рот, из которого вперемежку с английскими неправильными глаголами вылетала ругань на Шоню, на Чану и на меня:

— Shostak! Lebedchenko! Seroshtan! Stop talking!.. — визжала Диана Дмитриевна.

А ты?..

А я не мог глаз оторвать от того, что начиналось чуть ниже замечательной шеи, что лежало драгоценнейшим и сокровеннейшим кладом в вырезе телесного цвета кофточки и едва заметно и призывно так колыхалось, пока Диана орала на нас благим матом и грозилась позвать Бориса Максимовича или даже Владимира Васильевича с гантелей в деснице нас усмирять:

— Lebedchenko!..

Но не повезло в Кобеляках твоих англичанке-красотке...

После школы до армии самой я Диану больше не видел, что весьма странно — городок-то наш небольшой, 10 тысяч человек там влекут свои дни в ожидании чуда и смерти, — ну, понятно, все пацаны в Диану Дмитриевну были влюблены, даже Чана, жертва махорки, бычков и «биомицина», — вот эта повальная влюбленность подростков, выражающаяся, естественно, в злостных выходках, козлогласовании, припадочных и судорожных действиях вроде скакания по партам перед объектом любви и первого неотчетливого вожделения, и сослужила нашей Диане недобрую службу. Когда я вернулся из тайги под Читой, умудренный кое-каким первым жизненным опытом...

Да, ты от дисбата едва тогда спасся со своим Чарли Паркером — Витей Чаркиным, самарским гитаристом-джазменом...

...я, дождавшись теплых деньков, пришел совершить обряд ритуального омовения на ворсклинский пляж — с чего начинается родина? — отнюдь не с картинки в родном букваре, а с Ворсклы, — и там близ навеса, под которым заслуженные пенсионеры с «Розочки», скрывались от лучей немилосердного палящего солнца и забивали «козла», на белом песке, на коврике с книжкой про голову профессора Доуэля в руках я неожиданно встретил нашу соблазнительную Диану. Все ее осталось при ней, но что-то уже было не так. Она подняла темные солцезащитные очки почти на макушку, рассматривая меня, и узнала:

— Это ты, Сероштан?

Я подтвердил. Мы разговорились, почти что на равных. О чем был разговор, я, конечно, не помню, но сквозь обыденные слова какими-то сполохами пробивался порой непокой, какая-то внутренняя надломленность, тень некоего несчастья, след какой-то тайны постыдной. Затем — ни с того, ни с сего — с ней случилась истерика — слезы обильно оросили ее по-прежнему прекрасное лицо, достойное кисти фра Анджелико, она сперва застонала, а затем и заголосила как-то утробно. Весьма неожиданно, надо сказать. Прямо посреди какого-то совершенно нейтрального разговора. Я поначалу пытался как-то утешить ее словами, гладил руки, даже слегка приобнял за плечи ее, но после того, как ее лицо исказилось какой-то внутренней судорогой или неведомой силой, а коралловые уста принялись извергать несусветную матерщину, я понял, что мне совсем не по силам совладать с этой несчастной и прекрасной женщиной, когдатошней нашей неприступной кельтской богиней. Да и потом — с ней ли или с той сущностью, помрачившей ее слабую душу? Я поднялся, отряхивая песок, оставив ее, горько рыдающую под стук доминошных костяшек невозмутимых пенсионеров, заслуженно отдыхающих от трудовых будней жизни, прошедшей на «Розочке» за пошивом ватных штанов для военных разведчиков, нырнул в нашу Ворсклу и долго отмокал от увиденного и услышанного. Затем потихоньку выполз на берег, сгреб манатки свои и отправился от греха подальше домой.

То есть любовь свела англичанку с ума?

Ну, вроде того. Школа, придурковатые подростки, поголовно влюбленные в Диану, может быть, было что-то еще, о чем иногда пишут газеты, — она же все-таки человек, красивая женщина со всем присущим женщинам, может быть, и допустила что-то неподобающее для советского педагога. А что — допустила? Да все то же, что дано женщинам допускать, — ведь нет ничего нового в мире. Я ведь не осуждаю ее, если слухи и какие-то подозрения были реальными, да и не мое это дело, — мне просто ее жалко до слез, — особенно если учесть тот дар неземной и совершеннейшей красоты, который она получила от Бога... Затем — исчезла она. Может быть, уехала на автобусе в промышленный Кременчуг или в тихую Полтаву, утопающую в садах, а может быть, в Киев. Кто знает. Следы ее потерялись.

Красота — страшная и весьма опасная вещь... Диана, похоже, не смогла

распорядиться ею с толком и пользой.

Ну а какие времена были... Казалось, навсегда нам остаться в этой могиле — с Кобзоном в радиоточке и гимном там же в шесть утра. Вставай на созидательный труд, проклятьем заклейменный!.. Все-таки, знаешь, есть некая милость Божия в том, что те, кого мы любили когда-то, кто был нам дорог, кто оказал существенное влияние на наше внутреннее развитие, уходят безвестно куда-то, и мы никогда ничего не можем узнать об их судьбах, о том, как сложились их жизни, о том, какими стали они.

Хотя интересно... Вот сейчас возможности такие дает интернет — кого-то можно найти, ежели захотеть...

Но не всех. Кто-то уходит от нас навсегда. И если кого-то все же находишь — особенно женщину — то лучше бы тебе вовек ее не видать. Конечно, и сам ты уже не тот добрый молодец, упакованный в пиленый Levi's, с волосами до плеч и машинописной подборкой Дилана Томаса за пазухой, у которого вся жизнь впереди, но ты все же знаешь — отчасти — кто и что ты есть, а повстречай ныне ту же Диану — что останется от твоих воспоминаний, от иллюзий и от мечтаний твоих, — увидишь ты сгорбленную полоумную старуху, хорошо если со вставными зубами или весом под 200 кг, или с вдовьим горбом за плечами, или же безумную серую воблу, все бредящую о какой-то любви...

Ладно, не множь словеса, Сероштан, я все понял. Но ты же — к чему все это вспоминаешь: Мишкину музыку, которая не уберегла самого Мишку от преждевременной смерти в закрытой квартире на Белорусской, свою бестолковую юность, Диану Дмитриевну?.. Ты же хочешь избавиться от иллюзий? Так будь же последователен! Встречай старых друзей и подруг с открытым забралом и терпи рвотные спазмы, дружище! Лекарство вкусом горько...

Избавиться от иллюзий и рассудить о ложных жизненных целях, которым ты следовал — это одно, но нагадить бездумно в свое прошлое — совсем ведь другое. А реальное возвращение — пусть даже краткое — к реальным людям из твоей молодости чревато пусть даже не глобальной катастрофой, но неким нравственным или моральным кризисом либо тяжелой депрессией — примерно если выдирать зуб мудрости без обезболивания. Да, прошлое и безвозвратное — сиречь обезболивание, наркоз, могучая иллюзия, которая дает возможность тебе причитать и светло сетовать, что все прошло, как с белых яблонь дым, и все в таком духе. Ведь вспомни, мой друг, какая юность была у нас и что было в ней.

Да ничего и не было доброго.

В том-то и дело: серость, бедность, убогость, кременчугская «Прима» и «солнцедар» — главные социальные развлечения, ну, еще драки с заворсклинскими пацанами из «Красного свиновода» на танцплощадке в субботу — чё вы в Кобеляки приперлись? — даже рыбу в Ворскле мы с тобой не ловили тогда, три кобелякские библиотеки — и во все я записан и все в них прочел, кроме тошнотворных «отцов ленинизма»; потом — весьма кратко — «университет журналистики» при газете «Комсомолец Полтавщины», как туда ездил после работы на «Розочке» на вечернем автобусе с решетиловского перекрестка, ночевал в общаге у Шони — тот уже стал студентом полтавского строительного института, я же работал учеником наладчика швейных машин на гребаной «Розочке» за 40 рэ в месяц; неплохой журналист и поэт Шевченко (а вот имя уже и запамятовал, но уж точно что не Тарас) учил нас, будущих рабкоровцев из окрестных колхозов, как писать очерки, — но я-то писал вирши, как и тот же Шевченко, но речь шла все же о провинциальной областной журналистике, и пару раз в обзорах писем от таких же бедолаг, ужаленных зудом сочинительства, которые присылали в газету стишата свои, Шевченко опубликовал два маленькие мои стихотворения — ну-ка, давай припомним их для общей картины:

Я растворюсь в жужжании шмеля,
ромашкой стану на лугу весеннем
и упаду на травы каплею дождя,
чтоб напоить тоскующую землю.
Я выльюсь в голос зелени берез
и на полотна упаду мазками.
Я следом стану от несмазанных колес,
чтоб ночь потрогать страстными руками.

Шевченко «Шмеля» моего изругал, что и неудивительно вовсе: что за *голос зелени берез*? Или чем след от *несмазанных колес* отличается от тех, которые все-таки удосужились смазать? И все в таком духе, — но что-то в нем все-таки и похвалил. Жаль,

потерялась в токе времен газетная вырезка с этим разбором областных графоманов (я — в их несметном числе). Знаю только дату опубликования ее — 11 ноября 1972 года, — это все, что осталось в памяти...

После третьей поездки в Полтаву и ночевки у Шони бросил я этот «университет журналистики». Но результатом все-таки было не только то, что я воочию увидел подобных себе ребят и девчонок, которые что-то писали и даже мечтали о публикации на серых страницах «Комсомольца Полтавщины», но и — по преимуществу — скоротечный пошив в строительной общаге у Шони студентами-старшекурсниками, промышлявшими портняжным заработком, умопомрачительных «бэлсов», как назывались брюки особого покроя — сверху в обтяжку до середины бедра, а оттуда — раструб сантиметров на 30, наверное. Из коричневой полосатой ткани, с манжетами. В общем, совершенный отпад. Когда я вернулся в тех «бэлсах» из Полтавы домой в Кобеляки, отец долго гонялся за мной по двору, размахивая ссохшимся от времени немецким ремнем, снятым с мертвого солдата вермахта, и даже один раз припечатал мне спину имперским орлом, а мама до самого моего ухода в армию грозилась порубить эти штаны топором, потому я их ежевечерне перепрятывал. А потом я у кременчужанина Чили за весомые 25 рублей купил и самопальную белую майку к «бэлсам» в комплект с изображениями — на пузе «битлов», а на горбу «роллингов», — и когда надел и прошелся в этом прикиде возле «Аптеки» на 60 лет Октября, то троллейбус, который как раз ехал мимо, остановился, как вкопанный, не доехав 100 метров до остановки, и чуть не перевернулся набок — горожане, ехавшие с базара, набитые в нутре у него, бросились на правый борт тюкать, тыкать пальцами и рассматривать невиданного чувака — в «бэлсах» и в такой вот майке непредставимой и невероятной в тогдашних сонных и целомудренных степях Украины. А потом хулиганы с Хорольской, когда я дошел уже до электростанции, пытались снять с меня и то, и другое — я едва спасся бегством от них. Так что нечего и вспомнить мне, кроме такой вот херни-дребедени...

Да уж, Сероштан, голодное детство, убогая юность, дурацкая твоя жизнь... Ничего ты не видел, нигде, кроме тайги под Читой, не был ты, слушал там в кунге радиолокационной станции радиопередачи на китайском языке на военном 100-килограммовом приемнике вместо вдумчивой охраны мирного сибирского небаи вспоминал, поди, «Аич Букурешт, программа либера...», румынское радио, которое раз в год передавало что-то путное, а в остальное время рассказывало о партийных подвигах товарища Чаушеску, о победе социализма в отдельно взятой Румынии и крутило народные частушки гордых наследников Древнего Рима и графа Влада Цепеша Дракулы, а ты все ждал и ждал бесконечно: та када уже ото битлаков-волосатиков заведут...

Глава 3. БЛАТНАЯ МУЗЫКА

Ну, это все после было того, как мир перевернулся с ног на голову и «в нашу хату вломилась свобода», — снова цитирую я Диброву. Это к нему, другу-писателю, в Киеве вломилась она, а со мной вот как все было.

На «Розочке» трудились несколько человек демобилизованных мореманов, проходивших срочную службу на флотах нашей родины, и кому-то из них или, может быть, кому-то из романтически настроенного начальства, начитавшегося в юности «Алых парусов» Грина, пришла в голову идея создать в почти коммунистических Кобеляках, на Ворскле, летний лагерь для местных пацанов, чтобы они не отирались в безделье по городку на каникулах и не хулиганили, если не отправлялись на сезонные работы в «Красного свиновода» зарабатывать на транзисторный магнитофон «Весна-3», чтобы зимой слушать блатные песни про зону, побеги, разбитных марух и про маму, ожидающую сына с отсидки. В кременчугском морклубе раздобыли устроители несколько списанных шестивесельных шлюпок, или, правильно говоря, ботов ЯЛ-6, переправили их к нам на Ворсклу — девочек, ясное дело, в мужскую компанию не принимали, а пацаны все — от 12 до 14 лет — валом поперли в плавучий лагерь. Потому назвался он плавучим, что отнюдь не базировался на одном месте, но был мобильным. Разведали мореманы-наставники о маршрутах: вверх — до самой Полтавы, села Старые и Новые Санжары, Белики, где делают козырную взрывную сгущенку, вниз — не считая мелких сел до Днепра — прямиком в Днепродзержинское водохранилище, а дальше уже днепровский лиман и черноморский вольный простор. Разведали мореманы и о притоках Ворсклы — от истока до устья, в надежде, что, может быть, выйдет плавучий лагерь и в оные ненароком, чтобы ведать затем, как возвращаться по степям незнакомым назад в родимые Кобеляки: реки Лозовая, Березовая, Грайворонка, Братеница, Иваны, Рябинка, Весёлая Долина, Ворсклица, Боромля, Олешня, Ахтырка, Котельва, Мерла, Ковжига, Коломак, Тагамлык, Полузеры,

Кобелячка и последняя Гусочка...

Что странно... Почему это по степям возвращаться домой? А шлюпки что, волочь на горбах пацанов?

Ну, на всякий случай продумывались пути отступления: в год 50-летия революции все это происходило же. Мореманы вполне реально опасались нападения на стоянках в лесах и колхозных степях пока не разгромленных местной милицией банд блатоты, отмотавших свои срока за хулиганство, воровство и прочие мелкие преступления и шатающихся, по извечному козацкому обычаю, по степям в поисках того, что плохо лежит, что можно украсть или кого можно ограбить на околице какой-нибудь Ахтырки или на берегу Гусочки. Мореманы-начальники вполне предполагали нападение уголовников и потерю нашего флота, потому и продумывали, как нам добираться в родное село по сухому пути. Ну так вот, стал я, как и прочие наши пацаны, «плавунцом». Прежде освоили мы премудрость весельной гребли на морской шлюпке: первая к рулевому пара весел называлась загребная (как раз я и стал загребным), на загребных ложилась основная тяжесть слаженной гребли, вторая пара — полубаковая, и третья — баковая. Ну, гребцам на баке было легче всего, я как-то на одном переходе из-за растяжения сухожилий сидел на баке, так это просто был отдых какой-то, ну и рулевой седьмым был на шлюпке, он и подавал команду гребцам характерную:

— *И-и! Р-раз!.. И-и! Два-а!.. И-и! Р-раз!..* — и так все 10-15 километров, которые следовало нам преодолеть от прежней стоянки до следующей, намеченной загодя нашими мореманами.

Шлюпки плавно и споро скользили по извилистому руслу реки, мы видели заводи, протоки, леса, густо росшие на берегах Ворсклы, видели водоплавающую разную птицу, тонконогих цапель, гладкошерстных ондатр, выводки юных змеек и ужаков, беспрестанно слышали всплески крупной рыбы, которая к этому дню больше уже не водится в Ворскле, проходили тихие плесы, встречали росистые и свежие утра, провожали багровое летнее солнце за окоем, купались в теплой и ласковой воде, сидели у костров... Была, разумеется, и гитара у кого-то — но песни были исключительно блатными, тюремными: «Ах ты... зараза», «Пропажа», про побеги и геройскую смерть зэка в тундре от пуль конвойных или про подвиги на краткой свободе:

Гоп-стоп,
Сэмен, засунь ей под ребро,
Гоп-стоп,
Смотри, не обломай «перо»
Об это каменное сердце
Суки подколодной.
Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,
Он прочтет ей модный,
Очень популярный
В нашей синагоге отходняк.

На походных кострах варили нехитрую снедь — кашу, макароны с консервами. Наши вещевые мешки и продуктовые припасы ехали по степям на грузовичке, милостиво выделенныо месткомом «Розочки», да в шлюпках, и места для лахов было немного, — когда доходили по Ворскле до места, грузовичок уже ожидал нас там, — кипела работа тогда: ставились палатки, разжигались костры, набиралась в котлы вода из реки, а после ужина, в полутьме, когда уже ухали в чаще ночные птицы и звенел крупный лесной комар, кто-то брал тихий, щемящий ля-минор на гитаре, — и сердце будто бы обрывалось куда-то, падало в прыжке затяжном — себе на погибель. Кажется, в самом летнем густом от запахов воздухе все, еще не произошедшее, не случившееся, уже существовало прикровенно-таинственно: и любовь, которая тебя еще ожидает и вот-вот обрушится на твою бедную и беззащитную голову и расплющит душу в сущий блин и ничтожество тем, о чем ты не знаешь еще, и волшебная музыка, жалким подобием и карикатурой которой был тот самый пресловутый ля-минор, с которого начиналась какая-нибудь «Пропажа», и ты подтягивал, пел, едва удерживая в своем теле трепетную душу, вкладывал в глупые, пустые слова такой силы чувства, о которых сегодня даже помыслить нельзя:

«Где искать мне тебя, дорогая пропажа?..»

Ну да, глуповато, конечно: еще ничего не произошло ни с кем из вас, а уже и «пропало»... А в 14 лет ты еще и блеснешь на смех всему миру, что «все прошло»...

Знал бы я тогда свое счастье — ведь в преддверии этого «всего» и находился как раз...

Но не будем же перечислять — это и так было, вероятно, со всеми. Давай к свободе уже...

А вот как описать словами то, что произошло? Ведь внешне все просто: я сидел на высоком берегу, на кочке какой-то, поросшей пожухлой травой, смотрел на тихую воду реки, в некотором отдалении от меня расположилась компания из нескольких человек, но не из наших «плавунцов», а какие-то залетные отдыхающие со всем, что отдыхающим предлежит: с одеялами, «солнцедаром», вислозадыми бабенками в раздельных купальниках в крупный «горошек», но и с невиданным мной никогда транзисторным радиоприемником «Спидола». Я, вероятно, даже не прислушивался к обычной болтовне и хихиканью местных красоток из колхоза, как он там назывался. Думал о чем-то своем, — хотя термин *думал*, вероятно, совсем не подходит к юноше 13-14 годов, каковым был тогда я: точнее было бы сказать, что некая чувственная и багровая цветом опара клубилась во мне и пузырилась метафизическими пузырями, какая-то теплая взвесь до краев наполняла мою душу, — хотя что я тогда и знал о душе? — ничего, как и о прочем в сем мире. Просто все только начиналось, сгущалось в невыносимой наэлектризованной атмосфере, — если это развернуть в метафору: некие бензиновые летучие пары наполняли и меня, и то, что находилось снаружи, и, казалось, зажги только спичку, затепли огонь — и все взорвется единым оглушительным шаром, и мир изменится неузнаваемо, — и ведь все так и произошло, хотя мир вроде бы остался таким, каким был. Но это только по видимости. На деле же — по сути — стал другим. Некая сущность во мне знала доточно, что «Пропажа» — обман. Что вся эта приблатненная лирика — просто ничто... все эти марухи, зоны и вертухаи — паллиатив и подмена...

Чего же?

Настоящего, истинного, непреходящего...

А сегодня, после одинокой Мишкиной смерти в закрытой квартире, ты ведь изменил свое мнение?

Но это — вовсе не мнение, было и есть. Не мнение: ныне я мню так, завтра — вот этак... Нет же. Но было то — жизнью, может быть, даже судьбой. Или, точнее: самой сильной и укорененной страстью, ненасытной и неутолимой.

Сказать, что не ждал, сказать: ждал — все ведь будет неточным, стертым, как медный пятак Екатерины II, — а вернее всего, что я все позабыл. Да и что такое — запомнить? Лица марух и блатарей на том ворсклинском травянистом берегу, или их разговоры, или вкус вина, который пряным цветком расцветал в их пастях, украшенных латунными фиксами по тогдашней лагерной моде? Все это несущественно, неважно, не нужно. Как обухом это:

Is there anybody going to listen to my story,
All about the girl who came to stay?

К Диброве в хату ворвалась свобода, — а я попросту полетел в пропасть без дна под эти первые аккорды и слова песни Girl — длиной в целую жизнь. Когда я очнулся и на полусогнутых ногах поплелся к нашим палаткам, что-то во мне, некая сущность, — может быть, это был уже ты? — знало, что назад пути для меня уже нет, я стал другим — не лучше, не хуже, но просто — другим.

Да, это был я...

Глава 4. ПЕСНИ БИТЛЗ

Все по видимости осталось таким, как и прежде: светило солнце, блестела в полуденном свете Ворскла, отдыхающие тянули через соломинки «солнцедар», как в голливудском кино, правда, не из высоких коктейльных стаканов, а из жестяных мятых кружек, украденных гражданской местной обслугой у зенитчиков, которые стояли в поле под Кобеляками и все послевоенные годы готовились отражать воздушные налеты вражеских летальных аппаратов.

Вот что было вокруг моего тела, моей души, моего скорого будущего.

Месяцы, годы и дни закружились, как октябрьские палые листья в парке имени Н.К. Крупской, прозванном населением нашенских Кобеляков попросту «Наденькой», — его спроектировали неравнодушные землеустроители и разбили после войны на берегу Ворсклы, — закружились багровой и терпкой листвой мои дни, — так, вероятно, и закончилось мое детство с руманештами, польскими сладкоголосыми панянками, с убогими запиленными на «Ригонде» маминым миньонами из отдела грампластинок на Пушкинской, — время мое словно сорвалось с проржавевшей

цепи, — перед началом учебного года я поехал в Кременчуг — ну а куда еще ехать можно было из нашенских Кобеляков? — не в Полтаву же, сохранившую и до этой поры мирный сельский уклад, — и там возле Городского сада, где через 25 лет, в 1990-е годы уже, построили Троицкий собор, сохранив при этом памятник комсомольцам 1920-х годов, которые разрушили ради торжества близкого коммунизма кирками да ломами громоздкий Успенский собор на берегу Днепра, — вот под этим памятником по субботам собирались самые продвинутые ребята — разговоры о музыке, кто что слушал по забугорному радио — промелькнуло что-то даже о никому неизвестной «горячей сотне» на «Радио Люксембург»; радиопираты у берегов Великобритании, торчащие на рейде в нейтральных водах и сутками крутящие одну только музыку для тамошней молодежи, угнетаемой церковью, школой и капиталистами; наименования радиостанций — «Кэролайн», — это запомнил... На средних волнах иногда можно было уловить сквозь помехи, шумы и открытый космос эфира эти ошметки, обрывки, клочки того, от чего бдительно оберегали наши неокрепшие души кобзоны, пьехи и хили вкупе с идеологическими отделами наших местечковых райкомов. (Это потом, после армии, когда меня за пейсы таскал КГБ, принуждая к наушничеству в Литинституте, офицеры в цивильном все удивлялись: ты же увлекаешься мелодиями и ритмами зарубежной эстрады и передачей «Запишите на ваши магнитофоны»? Но ведь у наших вот этих кобзонов — фамилии вовсе не русские, так люби их и не рыпайся, Сероштан!)

Может прикидывались? А может быть, действительно не понимали. Все возможно.

Там-то, у памятника Ленинскому комсомолу, я и познакомился с Толиком Чилей, который уже тогда ездил временами в далекий Харьков на «балочку», где тамошние продвинутые харьковчане продавали и обменивали западные пластинки, диски, плиты, пласты, рекорда — все это синонимы для обозначения былого звукового носителя, канувшего в лету, как и все прочее в этом переменчивом мире, — привезенные с оказией какими-то редкостными и засекреченными навсегда загранработниками или спецкомандированными из-за «железного занавеса» после сотен проверок в райкомовских комиссиях, которые состояли из уцелевших после партийных чисток и выживших в лагерях, но так и не вразумленных товарищем Сталиным, старых большевиков-ленинцев. Понятно, загранработники и спецкомандированные — между исполнением ответственных поручений и конвертированным в суточную валюту советским патриотизмом — зарабатывали на этом: на барахле, на одежде, на «грюндиках», «филипсах», «сони» и другой аппаратуре, ну и на дисках, естественно, тоже. Уже в 1990-е годы, в Москве, мне рассказал один из таких командированных за рубеж по линии Министерства культуры, что денег, вырученных от продажи привезенной из Парижа дубленки, хватило на оплату первого взноса кооперативной квартиры для дочери. Рынок был голоден, как медведь после спячки — даже болгарские штаны «Милтонз» отрывались втридорога едва ли не в очередь. Что тут сказать... Чиля нам, желторотым, растолковал, как можно зарабатывать на том, что мы так любим, — а мы ведь любили, я так даже был просто на всю оставшуюся жизнь травмирован преждепоминаемой Girl, — и что даже несмотря на заоблачные цены дисков, привезенных Чилей из Харькова в потертом портфеле, отданные за них весомые 40-70 рублей можно довольно быстро вернуть, а потом только навариваться на перезаписи на магнитофонных бобинах. Мне, признаться, не очень нравился подобный подход — я же все-таки любил музыку, а тут — меркантильность: три, а то и все пять рублей за перезапись с диска, — но некуда было все же деваться: диски стоили дорого, а денег у нас, пацанов, школьников и студентов, практически не было. Так на свой первый диск Beatles — Abbey Road я копил полгода, отказавшись от школьных обедов. Зарплата моей матери на «Розочке» составляла всего 90 рублей — такую сумму я отдал в начале 1970-х за концертный Slade — Alive, с истошными, неслыханными никогда воплями Нодди Холдера. За неполный месяц в наших тихих и мирных Кобеляках я расписал его на 80, что ли, рублей, а потом продал Гене Черевику в Кременчуг — за 120... Такова была схема этого бизнеса, которая позволяла прыщавому юноше тех пещерных времен быть на плаву, т.е. пополнять свои магнитные записи и быть в курсе новинок из Харькова, — о коллекциях самих дисков речи не могло идти никакой — никто из нас не мог позволить себе оставить даже особо полюбившийся диск: после ряда перезаписей и ежедневных прослушиваний диск надобно было продать другим дискоманам, идеально — в другой город, в Днепропетровск, например, или в Полтаву, или же в Комсомольск, в ближней к нам сельскохозяйственной Решетиловке народ не въезжал ни в такую музыку, ни тем более в такие безумные цены. Ну а к нам, прямо в школу, приезжал пару раз из Кременчуга дискоман по кличке Вовушан, он привозил пачки мутных, переснятых в пятый раз фотографий исполнителей и западных групп — Rolling Stones, Mountain, Led Zeppelin, Alice Cooper — к нему на большой

перемене выстраивалась очередь из пацанов покупать фотографии по два-три рубля. Кто-то разведал, что его старший брат, приятель вездесущего Чили, учился где-то в Москве и снабжал оттуда Вовушана переснятыми с западных музыкальных журналов фотографиями, — это продолжалось до тех пор, пока бдительные к вражеским происка-веяниям-увлечениям Борис Максимович и Владимир Васильевич не сдали Вовушана участковому дяде Ване Покиньбороде. Уголовного дела на Вовушана не завели, хотя дядя Ваня и грозился отправить его на далекую Колыму долбать кайлом вечную мерзлоту, но в Кобеляки заказано было ему уже приезжать. Кажется, дядя Ваня и отходил его пудовыми кулаками в каталажке, а изъятые фотографии с волосатиками торжественно и прилюдно сжег в железной бочке для мусора во дворе кобелякской ментовки на Ленина: так будет с каждым, кто покусится на советскую власть и советскую музыку!.. Возле Горсада, когда мы с Вовушаном в очередной раз повстречались, он рассказал, что окучивает теперь села над Пслом — Запсилье, Потоки, Омельник, Гуньки, Манжелию и Ламанное — приезжает на рейсовом автобусе и слоняется возле тамошних школ, просвещая сельских простодушных парней про настоящую музыку «рок». В Манжелии у него даже купили польскую перепечатку группы Tremeloes, что всем нам, собравшимся под памятником пламенным комсомольцам, показалось невероятным успехом.

О Вовушане все же закончи — все было ведь неспроста...

Да. Но кто тогда мог читать эти тайные знаки наших судеб? 25 лет спустя Вовушан каким-то странным и загадочным образом стал православным священником, — и кто бы мог это представить, — выступил инициатором постройки Троицкого собора у памятника все тем же несокрушимым пламенным комсомольцам у Горпарка, что на электростанции, где когда-то в первой юности мы собирались по субботам с пластами, завернутыми в «Зорю Полтавщины», «Комсомолец Полтавщины» или же в местечковую «Кременчуцьку зорю»...

...а ты иногда заворачивал обменные диски в еще более крутой «брехунец» — «Коммунист Кобеляков», которую редактировал Сократ Иванович Фрумкин...

Вовушан нашел спонсоров, распотрошил браконьеров и торговцев сомами и судаками на Центральном рынке, прошел с протянутой рукой по не разорившимся еще тогда предприятиям города, съездил на ГОК в Комсомольск, — сегодня этот город ради десоветизации переименовали в Горишни Плавни, — вышел на руководство НПЗ, даже цыганский барон из Кохновки отслюнил ему энную сумму из цыганского общака, — Вовушан всем им — от все еще красных директоров до местных бандитов — обещал свои спасительные молитвы об оставлении их грехов и прегрешений, — и в результате, спустя несколько лет, ему удалось построить собор прямо в сердце промышленного и вполне себе атеистического Кременчуга. К слову сказать, он вовсе не стал настоятелем новопостроенного храма, как можно было подумать. Настоятелем стал урожденный хлопец из Закарпатья. Вовушану просто дали закончить строительство, украсить подобающе храм, а затем сделали вторым или даже третьим священником. О причинах и дальних прицелах сего пока умолчим. Мы встречаемся с ним иногда, когда я навещаю родимый наш край, называю в шутку его «отцом Вовушаном», хотя он давно уже заслуженный и уважаемый в городе протоиерей, — смеемся, вспоминая, как он привозил к нам в кобелякскую школу фотографии волосатиков и как его выловили наши, ныне почившие в Бозе, блюстители чистоты душ и телес Борис Максимович с Владимиром Васильевичем, и как его учил дядя Ваня Покиньборода кулачищами родину любить и быть комсомольцем.

В этом — движение души, изменения...

Ну да. Помнишь стишок такой:

Сегодня он играет джаз,
А завтра родину продаст.

Так вот, по сути, в остатке сухом «родину продали» вовсе не мы, поклонники и любители песен Битлз, ведь мы, если начистоту говорить, были изгоями, выброшенными на обочину социума, — не мы, но те самые комсомольские активисты, которые ловили нас на «Горбушке» вместе с переодетыми оперативниками, хватали нас на Цветном бульваре и набивали нами ментовские автобусы, когда туда переместилась филофоническая тусовка из парка имени Горбунова в Филях, раздавленная милицией, КГБ и невиданным административным прессом в конце 1970-х годов. Дождавшись горбачевской перестройки, стройными рядами и с белозубыми улыбками эти сладкие мальчики и доступные девочки, верные помощники партийных товарищей и наставников, рванули по различным студенческим обменам в Париж, Мюнхен и Лондон,

да и в Америку тоже, скандируя полюбившуюся западным дурбалаям магическую мантру: PERESTROYKA! PERESTROYKA! PERESTROYKA! А мы как сидели в глубокой заднице, так в ней и остались со своими бобинами, с заслушанными до дыр дисками и смутными надеждами на то, что теперь-то все и изменится...

Изменилось. Да только не в ту сторону и не так, как блазнилось вам, дуракам, неотчетливо, и не так, как надеялся Солженицын...

А до перестройки еще одну замечательную операцию провели наши спецслужбы: под предлогом чистки Москвы в преддверии Олимпиады в 1980-м году выслали на Запад большое число инакомыслящих и диссидентов. Зиновьев пишет открыто о том: на одного диссидента приходилось десять засланных со спецзаданиями «казачков». До сих пор одна сладкая парочка содержит художественно-литературный салон в Париже, — и все эмигранты знают, кто стоит за ними. То же повторилось и в перестройку... Да, казалось нам: устрани коммунизм как идею, разрушь инструменты подавления воли соборной народа, и тотчас распрямится народ, расправит плечи, и снова возвратится былое: последний довоенный 1913 год с его невиданными экономическими успехами, малиновые колокола, — Святая Русь, или непобедимая Российская империя — что кому мило, — но нет, все произошло по-другому... Петросян — вот кто, говоря очень грубо, общо, — стал символом нового времени, новой эпохи. Эти набитые залы хохочущих русских людей над плоскими шутками престарелого юмориста-миллиардера меня просто поражают в самое сердце. В начале 90-х годов еще сильны были надежды нашего общества, освободившегося от ветхих цепей кровавых коммунистических иллюзий — до сих пор впечатляют фотографии с верхних этажей Госплана, будущей Государственной думы: Манежная площадь — от края до края — залита живым человеческим морем: протестовали против коммунизма и ратовали за демократического Ельцина. Потом многие пожалели о своей опрометчивости и доверчивости к всего лишь пустышкам-словам-обещаниям, которые не стоили выеденного яйца, — да и я тогда принял участие в выборах — в первый раз и в последний, — и отдал голос *«за Борю»*...

...а потом?..

Потом за все, что происходило со страной, винил себя самого: я же ведь отдал свой голос, по сути, за то, как дербанится ныне держава, уничтожаются заводы «реформами», как комсомольским райкомовским мальчикам раздаются за просто так нефтеносные поля тюменского севера, как расстреливается из танков Верховный совет, не дающий вроде бы проводить Боре «реформы», как брызжет слюной с трибуны свиноподобный Гайдар, внучок расстрельщика русской темноты в гражданской войне, по совместительству ставшего затем великим детским писателем; а сами, что говорить, демократические писатели наши — члены группы «Апрель» — составляют расстрельные списки товарищей и коллег по литературному ремеслу, по Союзу писателей, которые на свою голову поддержали сторонников Руцкого и Хасбулатова против того злосчастного указа 1700, похерившего основной закон, Конституцию... Да, это ты, гребаный Сероштан — так говорил я себе — лично расстреливал Белый дом, ты — погрузил в пучину бандитизма и воровства ту страну, которая когда-то называлась Россией — своим бюллетенем ты согласился с перекрасившимся из красного Ельциным, дал ему карт-бланш на все... Думаю, многие из того моря людей на Манежной пожалели о том, что так искренне рвали глотки за *Борю*. Но — история непоправимо и неотступно совершается только единожды... Больше я уже голосовать не ходил. Только поезд ушел, и ничего уже было не исправить, не переиграть...

Глава 5. «ВАЛЬКИ́» ИЗ ГОСТИНИЦЫ «МИНСК»

Так вот, чтобы уже закончить разговор на эту тему — об иллюзиях после краха горбачевского коммунизма, расскажу такую историю: в самом конце *ускорения*, году в 1989 или 90-м, попал я однажды на патриотический вечер, — чему он был посвящен и о чем шел разговор, я забыл за давностью лет, — так вот, вечер этот происходил в спорткомплексе «Олимпийский» на проспекте Мира — на игровой арене стояли столы, за ними сидели тогдашние властители патриотических дум, но запомнил я только писателя Сергея Алексеева из Вологды, который ныне зарабатывает на жизнь романами языческого «славянского фэнтэзи» — запомнил же я его по разноцветной ленточке, которой по старинному новгородскому обычаю были перехвачены его буйные волосы — такая ленточка в тогдашней московской хипповой среде называлась *хайратником* — от слова hair, что значит «волосы»; что там рассказывал народу Алексеев, я, конечно, забыл, — но я о другом: зрительские трибуны под самый потолок были забиты людьми — яблоку негде было упасть, десятки тысяч неравнодушных к судьбам отечества людей собрались на давний тот вечер...

Да, сила... А что было после?

Все рассосалось в течение часа-полутора: эти вдохновленные тысячи и тысячи патриотов, когда вечер закончился, спустились с трибун, вышли на московские улицы, спустились в метро и мирно разъехались по домам... Что было в душах тех давних неравнодушных людей? Какой плод каждый из них принес в свою семью, в свой дом, в свое будущее?..

Ответ, естественно, не очевиден...

Оче-виден — верное слово: глазом здесь ничего не узреть. И вот, продолжаю, в 2016 году в Славянском фонде на Большой Ордынке было подобное мероприятие, только значительнее, потому что общих слов, как в Олимпийском, уже не было, страна уже прошла горнило разбойных 90-х годов: годовщина создания ВСХОН, в докладчиках были поистине легендарные личности — Михаил Назаров, выдающийся публицист с непростой судьбой политического беженца-невозвращенца, Владимир Осипов — многолетний сиделец за русскую идею в брежневских лагерях, Игорь Иванов — историк этого движения, автор объемистой книги о ВСХОН, дочь замечательного писателя Леонида Бородина, отсидевшего за участие в ВСХОН 11 лет, вдова священника Н. Капранова, погибшего в неравной борьбе с государством и церковными соглашателями за свободу вероисповедания, — и что же? В невеликом зальчике клыковского Славянского фонда в Черниговском переулке присутствовало полтора десятка человек слушателей, едва ли не меньше, чем докладчиков и выступающих — «легенды» десятилетиями сидели в зонах, мотали немалые сроки, Назаров бежал на Запад и мыкался по Европе, работал на «Радио Свобода», пока его не изгнали оттуда за нескрываемый русский патриотизм, кто-то эмигрировал и умирал на чужбине, клали душу и жизнь на алтарь идеи освобождения России от коммунизма, писали книги — ну и что?.. Никому — по видимости — это оказалось не нужно... Полтора десятка пришедших на вечер... Куда подевались те неравнодушные тысячи с патриотических вечеров 80-х годов?.. Это при всем том, что любой из них — Осипов ли, Назаров ли, Иванов ли — способны были собрать и зажечь пламенным глаголом сколько угодно русских людей...

В 80-е годы народ гирляндами висел бы на люстрах на таком вечере, было бы не протолкнуться... Это так мы все изменились? Или ты все же сгущаешь краски?

Что тут — сгущать? Есть факт, я сам там присутствовал, вместе с Леной Бородиной и Агнешкой моей. Мне было горько все это видеть. И так ведь — во всем. Прежний мир невидимо и подспудно рушился и исчезал: возьми даже немыслимые ныне былые книжные тиражи, — поэзия издавалась тогда самыми мизерными тиражами — 10 тысяч экземпляров, — сегодня это — тираж бестселлера, который «все покупают» и за который могут даже дать какого-нибудь «Русского Букера». Моя первая книга была напечатана тиражом 50 тысяч... А миллионные тиражи «толстых» журналов? А миллионные тиражи Солженицына, — ладно его, но и «Детей Арбата» ведь тоже.

И не забудь «Анжелик» разных, братец, озолотивших первых частных издателей в начале 90-х годов. Но феномены есть и сегодня, — те же «Несвятые святые» твоего приятеля начала 90-х годов архимандрита, а ныне Псковского митрополита Тихона Шевкунова, которого ты знал еще под именем Гоши... Но ты не скули, Сероштан, надоел — знаешь ведь этот психологический стариковский закон о том, что когда-то и деревья были куда зеленее, и небо фантастической голубизны, и девушки на бульварах пригожее...

Но при этом факт остается фактом. Ну вот что должен чувствовать древний старец Владимир Осипов, отмотавший в тюрьме чуть ли два десятка лет только за то, что издавал православный патриотический журнал «Вече», когда воочию видит, что его жертвы и понесенные тяготы «дневного зноя», как в евангельской притче о работниках 11-го часа сказано, никому не нужны?..

А товарищи из ГБ честно его предупреждали об этом... Не внял он товарищам тем, — ну что же, сиди — это твой вольный выбор... Да и ты, помнится, тоже «выбрал свободу»...

Да. Когда прикинулся дураком и сослался на занятость, когда двоица апостолов из 5-го, идеологического, управления КГБ СССР склоняла меня к сотрудничеству и доносительству. Спасибо, опытные ребята, выпускники журфака МГУ, меня надоумили, как себя с ними надо вести: я же все пытался переиграть этих профессионалов, а они таких, как я, желторотых, на раз раскалывали — методики у них были ведь специальные, и подобных мне — было не сосчитать, и почти каждый пытался от них улизнуть под каким-то благовидным предлогом, но нет, все у них было под контролем. Мягко стелили они, а потом, когда я заартачился, начали запугивать:

отчислим из института, выгоним из Москвы, не напечатаешь, падла, ни строчки из своей писанины!..

— Как же так, — притворно возмутился я после того, — вы же назвались моими друзьями и доброжелателями, а теперь назвали меня прямо «падлой»?.. Значит — так?..

— Будет еще хуже тебе, Сероштан!

— Хорошо, Валентин Георгиевич и Виктор Васильевич, дорогие. Отныне я ни на какие тайные встречи в гостиницу «Минск», в ваш явочный номер 919 приходить больше не стану. Я — занят: учусь, скоро сессия, некогда мне. Понадоблюсь если — вызывайте официальной повесткой.

Я так внешне храбрился, но в душе у меня зияла страшная сосущая пустота. Ну что же, думал я обреченно, придется из этого громокипящего Вавилона возвращаться назад в тихие Кобеляки, *до мамы*. Ладно. Но другого выбора не было у меня.

— Сессия, говоришь? Можешь забыть!.. — лютовали хранители коммунистической идеологии.

Все это происходило осенью 1978 года. Со времени поступления в Литинститут уже прошел целый год в раздолбайских пьянках, ночных разговорах, скоротечных романах в общаге с такими же бедолагами противоположного пола, случайно, как и я, заброшенных на эту планету, в Москву, чтении стихов, драках с подвыпившими старшекурсниками-поэтами, открытии для себя московских музеев, полуподпольных выставок на Малой Грузинской, рестораций, пивбаров, живых классиков советской литературы и прочем без числа и без меры, — и я просто успел позабыть, как за несколько дней до моего отъезда в Москву ко мне нагрянул некий пожилой господин в сером костюме и со стертым, весьма специфическим лицом, которое сразу же и забываешь, не успев отвернуться, помахал у меня перед носом каким-то удостоверением и под белы руки препроводил к черной «Волге», свезшей меня, пребывавшего в полной растерянности и в ступоре, в ментовку на Ленина, но только не на те первые 2 этажа, где краснознаменная милиция Кобеляков во главе с сизолицым дядей Ваней Покиньбородой боролась с нарушениями социалистической законности и с бытовым пьянством подведомственного ей населения, а на 3-й этаж, за дверь без вывески, обитую серым металлом, — так я впервые, но все же единожды — меня ведь уже зачислили в Литинститут, и через пару дней я уезжал на учебу, — попал в наше местечковое КГБ. Я все думал-гадал: за что меня взяли и с таким почетом привезли на «Волге» сюда? Я ведь после возвращения из Читы сразу же поступил наладчиком швейных машин все на ту же нашу неувядаемую «Розочку», к ватным штанам для военных разведчиков, и еще даже не успел возобновить свои доармейские занятия с дисками, — я понял, кроме всего прочего, что ситуация за те два года, что я отсутствовал, кардинально изменилась, — хотя Кобзон со товарищи все еще были в силе и чести, однако фирма «Мелодия» начала невеликими тиражами печатать то, о чем прежде и помыслить было нельзя: издали «Imagine», 1971, Джона Леннона, еще что-то, игривых Smokie, к примеру, с хитом «What can I do?», тотчас переименованным острословами в «Водки найду», — понятно, что этих дисков на Пушкинской и в Доме торговли в Кременчуге так и невозможно было купить в свободной продаже, про Кобеляки нечего и говорить, но они уже присутствовали в метафизическом пространстве нашей великой державы, и наша юношеская — весьма иллюзорная — монополия на западную рок-музыку поколебалась. Да и потом, больше никто уже не записывал диски за деньги. Та маза прошла. Радиопередача «Запишите на ваши магнитофоны» по субботам заставляла миллионы меломанов от Кушки и Чопа до Владивостока и порта Ванино приникать к радиоприемникам; публикации Артема Троицкого в молодежном «Ровеснике» ценились на вес золота, мы же недоумевали: как это Артему, нашему, вероятно, ровеснику, давали журнальные площади под такие вольные, свободные музыкальные материалы, — тоненькие эти журнальчики давались на чтение самым доверенным людям, прежде чем статья аккуратно вырезалась и отправлялась в драгоценный архив, вместе с подобными вырезками из «Труда», «Крокодила» и украинского «Перца», где рок, в отличие от «Ровесника», беспощадно клеймился и проклинался. Так прикольного и юморного Элиса Купера, записавшего к этому времени четыре десятка первоклассных альбомов, ныне, можно сказать, благочестивого проповедника в одной из американских христианских церквей, однозначно наотмашь припечатывали как «певца насилия, секса и смерти». Да и потом — за два года в армии мало того, что я несколько одичал сам по себе — и тому были причины, конечно, так я еще и отстал, даже несмотря на то что армейские друзья у меня были весьма продвинутые: фельдшер Коля Якушев, призванный под Читу из Саратова, открыл для меня арт-рок с такими великими группами как Van Der Graaf Generator, как ранний Genesis с Питером Габриелем — хотя бы словесно, записей, понятное дело, ведь не было: когда дембельнешься, попробуй найти эти диски, Сероштан, ты сможешь, — так

напутствовал меня Коля после излечения от кишечных колик, когда я объелся кашей-»кирзой» и загремел в лазарет; Виталик Чаркин, прозванный Чарли, ресторанный музыкант из Куйбышева — открыл для меня джаз-рок и джазовые стандарты, — с Чарли было попроще: в казарме была гитара, и Чарли все это нам наигрывал, удивляя сложными джазовыми аккордами. И стандарты, и аккорды я затем привез на Украину, где не только удивились всему этому мои корефаны в Кобеляках, но и кременчугские продвинутые чуваки из-под памятника комсомольцам. Но не за джазовые же аккорды меня, в конце концов, приволокли в КГБ?

— Ну, Сероштан, признавайся во всем! — сказал мне человек с неразборчивым именем и такой же фамилией.

— Не понял юмора, товарищ начальник. В чем я должен признаться?

— Подумай сам, — в голосе его просквозила скрытая угроза.

Я начал думать, но так ничего и не придумал. Ну, пью портвейн «777» и вермут, как всякий уважающий себя гражданин СССР, ну, курю кременчугскую «Приму»... А шо, это преступление?.. Ну, украл на «Розочке» напильник и молоток...

Товарищ в штатском решил мне помочь и сказал:

— А чем ты в армии занимался?

— Как это — чем? — я удивился. — Отдавал, как и все пацаны, родимому государству два года почетную обязанность, как и написано в уставе внутренней службы или где там еще, в Конституции?..

— Государство, думаю, пожалело, что призвало тебя в ряды доблестных защитников нашего отечества.

— А чё это оно пожалело? Много денег перевело на мое содержание — аж 3.80 в месяц плюс 2 пары сапог за каждый год вынужденного в тайге пребывания? А мне, думаете, товарищ начальник, не жаль двух лет своей молодости? Правда, хоть страну из вагона посмотрел, пока везли нас из Полтавы в Читу в 74-м году, что говорить, спасибо за это товарищу Шелесту, первому секретарю компартии социалистической Украины...

— Ты брось, Сероштан, залупаться! — пригрозил мне тот человек. — Не тули сюда партийное руководство! Не порочь непотребным словом своим незапятнанное знамя труда!

— Так это я цитирую нашу многотиражку, известную всему человечеству, — заучиваю наизусть передовицы «Коммуниста Кобеляков» коммуниста-писателя-журналиста товарища Фрумкина... Нам еще в первом классе рассказывали, как он под локоток подтолкнул страшную террористку Фаню Каплан, она и промазала по Ильичу на радость всему прогрессивному человечеству...

— В другом месте блеснешь остроумием, Сероштан! Не забывай, где ты находишься. Это тебе не генделик на набережной...

— А где я нахожусь — вы не сказали. Это — милиция?

— Не сказал? Так слушай, но тут же и позабудь — дашь затем подписку о неразглашении информации. Ты — в районном отделе Кобелякского комитета государственной безопасности. И мы о тебе знаем гораздо больше, чем ты можешь представить.

Так вот куда я попал!..

— И что же, какие тайны мои вам известны? — я все еще хорохорился, но на душе у меня было скверно вообще-то.

— Ну вот, к примеру, я знаю о том, что из армии ты вернулся по воздуху — самолетом, до Киева, и за государственный счет!

Чувак этот явно кое-что знал обо мне. Чудеса!.. Может, рядом в кресле сидел, пока я от Читы 10 часов летел, аки птица небесная, поспевая вслед за солнцем на запад? Так это же я в июне прилетел из Читы, а ныне, спустя целый год, только до этого и дошло у них дело? Весьма важная для безопасности государства информация...

— А что, надо было снова месяц тюхать в общем вагоне и нюхать чужие носки? — сказал я. — Так в казарме нанюхался на всю жизнь портянок...

— Жаль, не законопатили тебя в дисбат после того, как ты избил рядового Шарипова...

Тут снова я удивился: про самолет Чита — Киев еще можно было догадаться, хотя с этого столь важного и знакового события прошло уже более года, а про Шарипова откуда знает кобелякский ментяра? Я все еще питал надежду, что это ментовка и что по поводу ГБ берет меня хитро на понт, пугает, — разве настоящие чекисты такой мелюзгой, как я, занимаются? Вспомни кино «Рожденная революцией» и сопоставь с этим бредом, — но тут он припер из соседнего кабинета довольно пухлую папку, присланную следом за мной из особого отдела Забайкальского военного округа. Я дембельнулся в июне 1976 года, а чистые руки у наших блюстителей идеологической чистоты до присланных материалов дошли, получается, только к августу 1977, а мо-

сковские взяли за жабры меня только осенью 1978, — так неповоротливо и неспешно они ловили шпионов и диверсантов, — но разве я, никакой Сероштан из забубенных степных Кобеляков, был диверсантом-шпионом? — ну а куда было им, спрашивается, торопиться? Работа непыльная, зарплату исправно дают, выслуга лет и чины на подходе, квартиры на метро Сокол, или где там еще, в сталинских многоэтажках, а там, смотришь, нехилая пенсия, и никто никогда ни за что не узнает, чем ты занимался всю жизнь: все засекречено до Второго пришествия.

— Дело с Шариповым давным-давно разрешилось комсомольским собранием, которое взяло меня на поруки, и пребыванием на гарнизонной гауптвахте в течение 3 месяцев с перерывом в 2 дня, чтобы помыться-побриться, после 28 положенных суток — трижды по максимальному сроку, — так что вину свою, гражданин следователь, я искупил, — отрапортовал я практически по-военному.

— Тебе это только так кажется, Сероштан, — сказал этот мужик. — А вместе с тем самое интересное только для тебя начинается... — тут-то он и положил передо мной пухлое дело с моим именем на обложке: — Читай, что о тебе написали твои бывшие сослуживцы. Выявили врага советской власти — не спрятался ты от нас в читинской тайге, как ни старался.

А разве я — старался?..

Вот так просто оказалось попасть под разбор бдительных органов — даром что два года своей жизни отдал государству... А ведь мог — мог я не идти в армию эту, — какие-то шумы в сердце обнаружили у меня доктора перед призывом, да и в легких что-то хрипело, колебались врачи, военкоматовские коновалы, на год позже даже призвали — в 19, но я, дурак, настоял чтобы отправили меня в славные ряды Родину защищать. В те годы стыдно было в армии не служить — только больных на голову и безногих не брали.

В общем, сказать, что я был изумлен, — ничего не сказать: как обухом по голове. Сослуживцы разъехались по всему Союзу, — их разыскали, вызвали в районные отделы ГБ, угрозами (надеюсь) заставили написать показания на меня. Суть моих прегрешений сводилась к пропаганде западной музыки, низкопоклонству перед Америкой и американскими автомобилями, антисоветским анекдотам и подшучиванию над лично товарищем Леонидом Ильичом Брежневым, а преждепомянутый Наиль Шарипов отличился даже и в этой сущей околесице, — цитирую, ибо запомнил — да и как такое можно забыть: *«Рядовой Сероштан после демобилизации может принести значительный вред советской власти, потому его необходимо изолировать от общества»*. Не знаю, сам ли он это придумал или же ему надиктовали в ревности не по разуму татарские особисты из Бугульмы, не знаю. Особист оставил меня наедине с этой папкой и удалился за дверь:

— Когда ознакомишься с материалами, напишешь объяснение по каждому эпизоду.

— Но я уже сейчас навскидку, по первой странице вижу, что все это сущая липа и бред! Вот В.Г. пишет: я говорил о том, что американские автомобили лучше наших. А разве это не так?..

— Ты что, захотел, чтобы и я, находясь при исполнении, порочил вместе с тобой советское автомобилестроение?.. — глаза офицера недобро прищурились. — Читай, а потом напиши объяснение!

— Может быть, сразу уже покаяние?.. — некая сущность во мне — может быть, это был ты? — все еще пыталась бороться с неотвратимо надвигающимся на меня абсурдом.

— С покаянием мы пока подождем. Но, думаю, и до этого дело дойдет, Сероштан.

С тем он и вышел.

Ну, и что ты там написал?

Да ничего особенного. Мягко постарался объяснить облеченным дурной и неограниченной властью товарищам, что все это надумано, все неправда, западную музыку, да, люблю и вовсе от этого не отказываюсь, ставлю ее выше нашей оголтелой комсомольской эстрады, про автомобили — просто смешно, анекдоты никакие не рассказывал в курилке, комсомольские взносы исправно плачу, являюсь патриотом социалистического отечества, — все в таком духе. Ну а что еще можно было здесь написать? Другое взволновало меня: неужели майору Сергееву, нашему забайкальскому особисту, нечем было заниматься в тайге, что он предпринял такую развернутую и многоходовую операцию по выявлению умело скрывшегося врага народной власти, под благовидным предлогом призыва в Советскую армию проложившего маршрут в Забайкалье и проникшего в защитной форме рядового солдата на секретную радиолокационную точку крутить ручку войскового приемника в надежде поймать позывные связного, затаившегося в небоскребах Гонконга, чтобы известить зарубежные центры о том, что он готов действовать... Как? Наверное,

пускать под откос поезда или сообщать номера войсковых частей, противостоящих предполагаемому китайскому вторжению.

«Под комсомольским билетом в нагрудном кармане у Сероштана билось сердце Иуды, — но не уйти Сероштану от карающей и вездесущей руки социалистического правосудия!» — так, должно быть, напишет обо мне в «Коммунисте Кобеляков» Сократ Иванович Фрумкин, когда мне дадут срок за мои преступления.

Может быть, кликнуть нашего кобелякмана из-за обитой жестью двери и посмеяться над всем этим бредом?

Но нет, дорогой, дело на тебя, дурака, было уже заведено и ему был дан ход. Благодари Бога, что родился и попал под этот разбор не при Сталине, — torga разговор был бы другим.

Да, я не мог предположить, что эта история затянется на всю мою жизнь. Что вызовут на допросы всех моих друзей поодиночке, брата, сестер, возьмут какие-то показания (не знаю — какие, больше уж дела моего мне не показывали), запугают подписками о неразглашении с последующим уголовным преследованием, и народ замолчит, кто-то, как Зойка и Серж, до смерти будет молчать, — так брат мне признался только через 25 лет, что его таскали из-за меня во Львове, где он служил срочную в штабе Прикарпатского военного округа, — уже и СССР приказал долго жить, и все изменилось кардинально и бесповоротно, а он все боялся нарушить ту давнюю подписку о неразглашении, данную львовским особистам...

Интересно: чем ныне занимаются те давние особисты? Выявляют врагов Украины? А раньше преследовали украинских националистов, выслеживали подпольных греко-католиков, не подчинившихся Львовскому собору 1946 года...

Увяз коготок — и птичка пропала...

Я пытаюсь реконструировать в подробностях тот день в последних числах звонкого давнего августа, исполненного солнцем, запахами щедрых даров степей и садов, предчувствием светлой осени, новых свершений в дальнем городе, где меня ждут новые встречи, новые друзья и единомышленники, литература, Тверской, 25... Я прощался с друзьями, с тихой Ворсклой, оставлял позади какие-то смутные юношеские надежды и упования, простился с любимой своей и уже — навсегда... И как все вот здесь, в Кобеляках, на самой высокой и пронзительной ноте прощания, на кордоне нового во всем бытия вдруг все неожиданно обломилось... К слову сказать, ни Коля Якушев, ни Чарли, не Петя Кухар, ни Юра Шмагринский — мои армейские друзья и товарищи — не дали никаких на меня показаний. Но остался за кадром в безвестности и тот первый, кто заложил меня майору Сергееву. Эта тактика — умалчивания о главном свидетеле, отводе его в тень — понятна вполне. Хотя я практически знаю, кто это сделал. Их было двое, один из Кременчуга, другой из Донецка, — дончанина я даже считал своим другом, улыбчивый кременчужанин всегда был мне неприятен. Они дембельнулись в первой же партии, а до того были поощрены отпусками на родину, что в Забайкалье очень редко происходило. Благодарность, так сказать, за верную службу и бдительность... Все это реконструировалось мной позже гораздо, в Москве, когда я пристально размышлял о произошедшем. Ну да Бог с ними — я больше никогда с этой двоицей не встречался, как, впрочем, и с другими ребятами, хотя хотелось бы мне, конечно же, знать, как сложились судьбы у Чарли, у Коли, у Юры и Пети... Сохранилась ли в них та любовь к музыке, что отличала нас от других в ту древнюю, давнюю пору, — да и живы ли они, собственно говоря?.. Интернет и социальные сети молчат о моих армейских товарищах.

Что-то жалкое и оправдательное я написал, пообещал, в частности, больше не только не рассказывать, но даже и не слушать анекдотов про Брежнева. При расставании сдуру сказал:

— А как же теперь быть? Я ведь поступил в Литинститут имени Горького и через несколько дней уезжаю в Москву...

Особист явно озадачился этим известием. Значит, далеко не все знали они обо мне. Ну кто меня тянул за язык?..

Так со мной, впрочем, происходило всегда.

Но ответил тем не менее так:

— Твое дело перешлем нашим московским товарищам, они примут решение о целесообразности твоего пребывания в идеологическом вузе.

30 августа 1977 года в 9.45 я вышел из плацкартного вагона поезда Кременчуг — Москва на перрон Курского вокзала в Москве.

Начиналась новая жизнь, в которой все, что произошло со мной до сих пор, забылось как дурной сон.

Я просто проснулся.

Хотя, может быть, тебе это просто казалось.

Глава 6. СЕРЖ ПЛАХТИЕНКО

Рассказ о делах тайной полиции в стенах нашей alma mater, — 3-го отделения, охранки или гестапо — как угодно называй этих ушлых, скользких ребят, — вынужденно придется прервать и сделать отступление от этого занимательного сюжета, — по примеру «Траектории краба» Гюнтера Грасса, но ничего не поделать: без этого отступления невозможно понять, каким макаром я оказался на Тверском бульваре, в доме 25, в котором когда-то на свет Божий родился Александр Герцен, писатель и революционер, издатель «Колокола», предтеча всего нашего революционного пантеона святых.

Причастны к этому невероятному событию были мои школьные друзья — Зойка и Серж, по странному совпадению погибшие чуть ли не в один день в августе 2001 года, находясь при этом в разных концах Европы: Сержа зарезали киевские бандиты, после того как несколько лет он «сидел на яме», т.е. по его паспорту и на его имя получались невозвращаемые кредиты. Когда под его представительную и солидную внешность, — еще в детстве его с 6 лет прозвали Профессором, — кредиты в конце концов перестали давать, зиц-председателя просто уничтожили, дабы спрятать концы в воду. А может быть, его жизнью просто рассчитались с теми горе-кредиторами, разведенными ушлыми махинаторами, у которых Серж пребывал в настоящем рабстве, — история эта так и осталась темной. Попал он в этот печальный переплет в начале 90-х годов: после окончания Полтавского мединститута он стал хорошим врачом-диагностом, из Кобеляков перебрался в Кременчуг, все 80-е годы успешно работал — на скорой помощи, в городских поликлиниках и диспансерах, но после того, как нерушимый Союз неожиданно обрушился, решил попробовать себя в бизнесе — взял в киевском банке кредит, купил подвал на жилгородке возле ДК КрАЗ и устроил в нем магазин элитных часов. Магазин этот вскоре ограбили местные бандюганы то ли с Хорольской, то ли со Щемиловки. Преступников не нашли, да и вряд ли искали — такое время было тогда. Кредит благополучно завис, вскоре и сам киевский банк приказал долго жить, но, прежде чем банк лопнул, клевреты банкиров выловили Сержа в Кременчуге, отобрали паспорт, избили, связали, положили в багажник автомобиля и вывезли в Киев отрабатывать долг и нескончаемо нарастающие проценты таким специфическим образом: набирать на свое имя кредиты, которые никто не собирался возвращать, как я уже говорил. Когда некая критическая масса достигла предела, его просто зарезали и тело выбросили на свалку под Киевом. Так все закончилось с Сержем.

Мы дружили с ним с 4-го класса. Как раз мой закадычный дружбан с детского сада Борька Спасский уехал к этой поре с родителями назад в Ярославль — дяде Леве не подходил украинский климат, и он с мая по сентябрь жестоко страдал аллергией на цветение здешних дикоросов и трав, — я тосковал по Борьке, писал письма ему, получал ответы — рассказы о новой школе в районе Брагино, о новых товарищах, о кружке авиамоделирования, о прогулках с тетей Гелей и братом Вадиком по замечательной набережной великой русской реки и как ходят по ней взад-вперед быстроходные «ракеты» на подводных крыльях, — но вскоре общение наше выдохлось, я сидел за столом над письмом и ломал голову, о чем еще написать Борьке в такую далекую от Кобеляков и такую загадочную Россию? Разве что о том, что в нашем с ним доме почетный пенсионер союзного значения Сократ Иванович Фрумкин организовал пионерский форпост для воспитания подрастающего поколения, которое совершенно точно будет жить при развитом коммунизме, — на форпосте через диапроектор крутили пленочные диафильмы, после сеансов Фрумкин проводил с нами политинформацию, плавно перетекающую в политзанятия с непременными клятвами верности отдать свою жизнь революции и счастью всего угнетенного человечества. «Розочка» выделила денег от продажи ватных штанов для разведчиков не только на помянутый диапроектор, но и на предметы культурного досуга, и Фрумкин, не жадничая особо, купил маленький бильярд с металлическими шарами, — мы днями напролет торчали в подвале бомбоубежища, где располагался форпост, смотрели сказки про Котигорошка и Дюймовочку, играли в бильярд и слушали рассказы почетного чекиста о добром дедушке Ленине, о доброй бабушке Розочке Люксембургочке и еще более доброй Кларочке Цеткинше и проникались все глубже и глубже идеями интернационализма и мировой революции... Непонятно было только одно: наши революционеры были такими добрыми и отзывчивыми, но почему же силы зла так хотели их уничтожить — покушались на жизнь, расстреливали, морили голодом в Цюрихе?.. Вот Фаня Каплан — она что, конченой дурой была?.. Как можно было покуситься на жизнь такого великого человека, как Владимир Ильич?!.. Хорошо, что юный комиссар Фрумкин оказался рядом с ней в толпе неразумных хазаров, т.е. рабочих-путиловцев, и спас Ильича — для нас, октябрят и будущих пионеров советской страны. Правда, Ильич все равно умер потом почему-то. Уже позже враги-антисоветчики придумали, что вождь умер от сифилиса

головного мозга. Ну что мне было Борьке писать в Ярославль? Не об этом же? О Сократе Ивановиче, почетном чекисте? Или о том, что когда Сократ Иванович повесил в бомбоубежище большой портрет дедушки Ленина на кровавом фоне, символизирующем, ясное дело, борьбу не на жизнь, а на смерть за торжество коммунизма на всем земном шаре, то какие-то несознательные пацаны тут же расстреляли портрет из рогаток, выбив чугунцами добрые глаза Ильича. Потерявший дар речи от изумления, Сократ Иванович прислушался к весьма разумному совету Доры Михайловны, своей супруги, которая царственно изрекла на заседании женсовета на агитплощадке нашего большого двора:

— Сокя, то есть идеологическая диверсия, и ты не можешь допустить, шоб это сошло так просто с рук этим мелким гоям из гоев!.. Они покусились на светлую память мирового пролетариата!..

Фрумкин рьяно принялся расследовать происшествие, и вскоре виновником объявили, как ни парадоксально... меня. Кто-то видел, как я выходил-заходил из подъезда в подъезд сразу же после расстрела иконы вождя всех угнетенных и обездоленных, а я растерялся и ничего не мог следователю Фрумкину возразить. Мой отец хотя и не был членом КПСС, но его вызвали все же в партком «Розочки» — Сократ написал такую «телегу», что проигнорировать ее выходило себе дороже для парторга «Розочки» и даже для директора фабрики товарища Парнокопытенка, отцу грозили какими-то карами вроде выговора с занесением в личное дело, лишением премии за текущий месяц и 13-й зарплаты в конце года, чем-то еще, чуть ли не товарищеским судом коллектива одеяло-войлочной фабрики; дома отец сек меня шлангом от стиральной машины, он верил товарищу Фрумкину, верил Каминскому, Глузману и прочим общественникам и строителям коммунизма с «Розочки», что такие авторитетные люди не имели, по его убеждению, никакого права на ошибку, и считал, что это именно я злостно запираюсь и просто не хочу сознаваться и каяться в этой жуткой диверсии с добрыми глазами дедушки Ленина, — но... Богом клянусь (если бы я, папа, Фрумкин и прочие мои общественники-истязатели верили тогда в Бога): я не расстреливал кровавого Ленина, — но мне не верили, — ни Фрумкин, ни родители, ни Борис Максимович с Владимиром Васильевичем. Правду знал один только Шоня, но он не только не сдал пацанов из чужого двора, но даже и мне не сказал. Шоня молчал, как Зоя Космодемьянская на допросе, и только через несколько лет Чана признался за распитием очередной порции «солнцедара» за сараями, что это он расстрелял Ильича из рогатки. Потому расплачиваться за чужие грехи пришлось все-таки мне. Но как писать о таком в Ярославль? Нужно ли это Борьке Спасскому было?

Так наши дружеские отношения, освященные еще детсадовской группой, совместным поеданием манной каши, рассматриванием польского иллюстрированного журнальчика для детей под название «Mish», обменом родителей (мне казалось, что дядя Лева с тетей Гелей меня будут больше любить, чем мои, да и проклятый шланг от стиральной машины я уже видеть не мог; те же иллюзии испытывал Борька по отношению к моим старикам, и мы как-то раз обменялись на полдня семьями, — эксперимент в результате признан был неудачным), первыми попытками курения в открытую форточку и прочими забавами, столь присущими послевоенным детям, у которых совсем не было игрушек, кроме серебряных медалей «За отвагу», выброшенных за ненадобностью после победы разочарованными послевоенной реальностью калеками и героями минувшей войны, выструганных из дерева пистолетов, стреляных гильз от немецких автоматов и наших шпагинских пулеметов. С Борькой мы бесконечно играли в войну, да и родители наши знали доточно, что вот-вот Никита с улыбчивым Кеннеди обменяются ядерными ударами, и начнется 3-я мировая война, — зачем зубы лечить или покупать детям игрушки?.. Они помнили документальные съемки из Хиросимы и Нагасаки, что там от людей остается...

С Сержем же, — тогда, разумеется, просто Сережей Плахтиенко, Профессором, — это уже к 8-му классу, после песен Битлз и других музыкальных открытий я переименовал его из Профессора в Сержа , — мы в войнушку уже не играли, да и Карибский кризис был уже к тому времени преодолен: наш генсек Хрущев убрал ракеты с Острова свободы, с «Кубы, любви моей», хотя наша страна и пребывала в полной боеготовности дать отпор империалистическому агрессору, но у нас, пацанов, появились уже новые интересы и увлечения. Вот — музыка, фотографии длинноволосых музыкантов, битников и хиппарей, чтение книг... Они вскоре стали превалировать даже, — я оказался запойным читателем, — прежде прочел всю библиотеку, которую собирала моя довольно артистическая мама — она ведь даже играла в самодеятельной театральной студии на «Розочке», хорошо пела, писала стихи к разным датам, но не к коммунистическим, — на дни рождения друзей, коллег, любила наряды и платья, на всех свадьбах в Кобеляках и в «Свиноводе» она переодевалась в цыганку и пугала захмелевших от забористого самогона дружков

жениха и гостей из колхоза яркими юбками, звоном монист и уханьем старого бубна, она и книги любила, — и в нашей библиотеке вперемежку были книги как на русском, так и на украинском языке. Книги в те годы были страшным дефицитом, как и все прочее, потому таких популярных писателей, как Джек Лондон, Ги де Мопассан, Марсель Пруст, Болеслав Прус на русском языке можно было даже и не искать — они доставались только партийному и фабричному руководству, а в книжном магазине возле остановки «Аптека» в Кременчуге эти писатели наличествовали исключительно в переложении на украинский. Мама, конечно же, подписалась на их собрания сочинений, и потому вышеназванные писатели до сих пор звучат для меня на нашем природном «соловьином» наречии. Кроме этих западных классиков, были и наши: обязательно «Кобзарь» Тараса Шевченка, я с ним и вырос, можно сказать, Максим Рыльский, Павло Тычина, Остап Вишня, но отношение к ним было весьма нейтральное. Русских книг — Чехова, Тургенева, Достоевского и других — почему-то совсем не было ни в окрестных книгарнях, ни в нашей домашней библиотеке, — мы с Сержем эту классику 19 века перепрыгнули не читая и сразу же окунулись преимущественно во французскую литературу: Мориак, Бодлер (мой любимый), Золя, Бальзак, Мюссе, Рембо... Из испанцев — особо — Федерико Гарсиа Лорка (любимый до судорог), Сервантес... Все мечталось мне прочесть заветных Фенимора Купера и Александра Дюма, но даже по-украински набранных типографски этих книг невозможно было сыскать. У одного моего приятеля, Лени Грача, сына директора гранкарьера, были дома эти собрания, я облизывался на них, когда заходил к нему в гости, но читать он их не давал — родители категорически запрещали. Только на 2 или 3-м курсе Литинститута, когда мы проходили по зарубежной литературе Дюма, перед экзаменами я наконец-то прочел «Трех мушкетеров» — и весьма был разочарован как стилем, так и сюжетом столь прославленной книги. Кроме тотальной, всесметающей литературщины и штампов, ничего я в ней не нашел. Да, папа Дюма не преодолел бы литературного конкурса к нам, на Тверской, 25 — я был в этом уверен. Но в этом мире — читательском, возрастном и коммерческом — были другие законы. И постигать их мне еще предстояло. Но понятно и то, что я стал уже совершенно другим.

Все хорошо в свое время.

Американцы, кроме Джека Лондона, тоже до Кобеляков не добрались, это уже после, в Москве я их для себя открывал. Ну, конечно же, как можно было сравнивать наших Тычину с Сосюрой, а тем более певца ленинизма Коротича с Лоркой, Бодлером, Рембо, а потом еще и Рильке в эту плеяду прибавился... Мы с Сержем новым знанием этим весьма превознеслись — записались во все три кобелякские библиотеки, выгребли оттуда все, что было только возможно, совершенно пренебрегая отечественной литературой. И в Кременчуг за книгами ездили — так быстро иссякли интеллектуальные запасы наших колхозных книгохранилищ. Это уже гораздо позже вычитал я у Олдоса Хаксли в «Контрапункте» диагноз нашей местечковой книжной шизофрении:

«Бегство в книги и университеты похоже на бегство в кабаки. Люди хотят забыть о том, как трудно жить по-человечески в уродливом современном мире, они хотят забыть о том, какие они бездарные творцы жизни. Одни топят свою боль в алкоголе, другие (и их гораздо больше) — в книгах и художественном дилетантизме».

Ну, тут, по слову Хаксли, уже рукой было подать и до собственных литературных занятий, которые верно было бы наименовать испражнениями — по общей убогости и бездарности получавшегося продукта. Прежде сочинялись стихи, жутко графоманские, — но это сегодня я так их расцениваю, а тогда, на границе 60-70-х годов 20-го века, мы с Сержем пребывали в блаженных слепоте и неведении, — может быть, столь и необходимых для безоглядного окололитературного делания, которое со временем преобразуется в творчество или же почитается таковым. Затем Серж начал блистать тем, что мы называли затейливым словом эссе: то есть непонятно о чем-то непонятном писать, изысканно, вычурно, с тайным умыслом и подтекстом, скрытым от непосвященных...

Да вы и сами не понимали, о чем он писал...

Целовали намерение, — по-евангельски. *Целовали* — перевожу со славянского — значит, *приветствовали*. Как некогда православные прошлой эпохи крупицами добывали евангельские слова из атеистических талмудов «Издательства политической литературы», издаваемых миллионными тиражами, так и мы с Сержем запойно читали литературоведческие, вполне себе пропагандистские исследования об упадочной западной литературе, которой наши исследователи и специалисты предрекали скорый конец и справедливое забвение. (Мы себя числили, разумеется, декадентами: мое стихотворение про *Все прошло* из той самой «декадентской» поры). На долгие годы нашей излюбленной книжкой, которую мы с Сержем просто зачитали до дыр, стало

исследование Леонида Андреева «Сюрреализм», изданное в 1972 году издательством «Высшая школа», а нашим героем — Тристан Тцара, основоположник течения дадаизма в 20-е годы в Париже. Сидя в пивбаре на набережной Ворсклы, в клубах табачного дыма и в эпицентре громогласных пьяных матерных разговоров отдыхающих душою и телом после смены слесарей с «Розочки» и из «Красного свиновода», мы цедили, переглядываясь понимающе друг с другом:

— Все — *gaga*...

Это было нашим волшебным паролем, знаком и символом причастности к тайному знанию, тайному ордену, истинным отношением к этому убогому советскому мирку коммунистических до тошноты Кобеляков, в котором мы по злой иронии судьбы оказались и — пока что — застряли, — но еще придет наше время, и мы преодолеем инерцию Кобеляков, мы напишем с Сержем что-то очень значительное и глубокое, от чего проснутся и содрогнутся в изумлении не только Кобеляки с Козельщиной и Кременчугом, но и весь Советский Союз, и тогда мы навсегда уедем отсюда, с берегов Ворсклы, в блистающий и свободный мир, чтобы забыть этот унылый абсурд, это кислое пиво, «Приму», «Беломор» и махорку, ватные штаны для военных разведчиков, эти осточертевшие швейные машины на «Розочке», товарища Фрумкина с его местечковым коммунизмом и неразумной террористкой Фаней Каплан:

— *Все — gaga! Все — gaga!* — в этом было наше спасение с Сержем.

Эта книжка — «Сюрреализм» — так и пропутешествовала с тобой всю твою жизнь. Пережила все катастрофы и предательства, выпавшие на долю тебе, Сероштан. Сержа вот уже скоро как 20 лет нет свете, а «Сюрреализм» — вон все сереет на дальней полке библиотеки твоей мягкой истертой обложкой, подклеенной скотчем, рядом с голубенькой, поблекшей от времени «Писатели Франции о литературе».

Еще одна наша Библия с Сержем...

Но вот теперь ты точно и со всем на то основанием можешь сказать, как в давнем твоем декадентском стихотворении, написанном в 14 лет: Все прошло...

Да, прошло. Только я отчего-то задержался еще на земле. Или же — для чего-то. Может быть, чтобы помянуть их, друзей моей юности, добрым словом, поблагодарить за то, что они были со мной, приветить их память, — потому что иначе ведь — *все gaga* так и есть, т.е. бессмыслица и бесцельность пути человека в мире-пространстве, — зачем же ты жил, Сероштан, зачем жил Серж Плахтиенко, не оставивший после себя просто совсем ничего: ни жены, ни детей, никакой памяти, кроме того, что был неплохим диагностом в 3-й поликлинике Кременчуга, а кто сегодня, через 30 лет, помнит об этом?.. Впору воскликнуть за пророком Давидом словом псалма: «Что есть человек, что Ты помнишь его?»

Может быть, Серж первым был, ушедшим в небытие без следа. Сколько затем знакомых и близких твоих, подававших большие надежды, канули в Лету, ничего не оставив...

Мне еще предстоит об этом подробно рассказывать. Тем более — о моих однокашниках по институту, — ведь там особое место было, да и, вероятно, так и осталось. И если в Кобеляках и в Кременчуге для пацанов главной задачей до армии было не угодить в зону за хулиганство, то в Москве главным было — просто остаться в живых.

О Серже закончу на ноте печальной. Ведь о том, как складывалась его судьба в 80-е и тем более в 90-е годы я уже узнавал по случаю от наших общих знакомых: после школы я работал на «Розочке» — Серж после 8-го класса отправился в медицинское училище в Кременчуг, затем я ушел в армию, Серж — поступил в Полтавский мединститут, — конечно, мы отдалялись друг от друга естественным образом: я дичал на «точке» в тайге, слушая китайскую тарабарщину в радиолокационном кунге, и считал забайкальские исполинские кедры, Серж жил в областном центре, обрастая новыми друзьями-подругами, читая-почитывая любимых французов, — наш доморощенный дадаизм-символизм-декадентство и эссеистика с самодеятельными стихами канули в глубокое прошлое, — ну кто это мог серьезно воспринимать? Когда я вернулся назад в Кобеляки, Серж, и прежде превосходивший меня как интеллектом, так и литературными способностями, совсем надо мной превознесся: я ведь снова начал трудиться на «Розочке» наладчиком швейных машин, а он уже без пяти минут был дипломированным врачом, — разница между нами весьма ощущалась. Но тут вмешалось само Провидение в предначертанное нам бытие.

По настоянию Зойки, о которой мне еще предстоит рассказать, я выдавил по старой памяти из себя пару убогих корявых рассказов, Зойка перепечатала их на машинке, добытой у секретарши 2-й школы, и мы отвезли скромную папочку вдвоем на паровозе в Москву. Я ни на что не надеялся, Зойка же верила в меня весьма крепко, подзуживала,

настаивала и вдохновляла. Как ни странно, рассказы мои неожиданно преодолели неминуемый отсев — их прочел Григорий Бакланов, из той самой когорты «писателей-лейтенантов», и сквозь нагромождения литературщины и несусветного бреда что-то в них разглядел. До сих пор, когда эта жалкая рукопись во время разбора архива попадается мне глаза, я не устаю удивляться этой причуде судьбы: если бы сегодня на рецензию дали мне нечто похожее, подобный тогдашнему мне полуграмотный чукча-писака без всякого сожаления и с полным на то основанием был бы завернут назад в Кобеляки с чистосердечным пожеланием никогда не прикасаться к бумаге.

Бог, Провидение, крепкая вера Зойки Скаженник, невероятное стечение обстоятельств, некий Промысел о тебе, дураке, — что угодно из этого выбери и не ошибешься ты, Сероштан. Помнишь в молитве одной такие слова: «Несоделанное мое видесте очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянная написана Тебе суть...» Значит, для чего-то все это и приключилось с тобой.

Парадокс этот еще и получил невероятное продолжение: закончив Литинститут вполне благополучно, несмотря на все препоны тех ребят из гостиницы «Минск», защитив кое-как и диплом (там они тоже пытались воспрепятствовать мне, — о том мне еще предстоит рассказать), я решил помочь одной девушке, которая тоже хотела поступить в Литературный институт, и дал ей для участия в творческом конкурсе несколько своих неопубликованных рассказов, вполне профессиональных, надо сказать, уже с литературной точки зрения, более того, в середине учебного процесса я преодолел некий творческий кризис и тупик, в котором оказался к 1980-му олимпийскому году, начал писать по-новому — густо, изысканно, интересно, — и я тут уж был уверен вполне, что эти рассказы — под ее именем — с легкостью пройдут творческий конкурс. Ведь моя белиберда в 1977-м благополучно прошла... И какое же было мое изумление...

...когда новые рассказы твои провалились...

Вот и рассуди здесь о Промысле о каждом из нас. К слову, по прошествии множества лет эта девушка все-таки стала писательницей, — крутится на языке сказать, что без моей помощи, — но это лукавство, конечно же, — прежде она стала моей женой и матерью наших детей, ну а затем уже — и писательницей, разрабатывающей глубоко историю гражданской войны на Дальнем Востоке, в Приморье, и вообще — историю освоения Приморского края, в котором самое деятельное участие принимали ее прадеды и деды, основывая поселки и города, фактории и золотодобычу, — горные хребты, пристани и урочища носят их родовое имя. Ну а в гражданскую — Пашкеевы эти пытались поворотить время вспять — в обреченных колчаковских судорогах. Василий Пашкеев, колчаковский офицер, ее двоюродный дед, стал первой жертвой гражданской войны на Дальнем Востоке. Кто-то оказался в Шанхае, кто-то — в Японии, а те, кто остался в России, бежали кто куда из Приморья, где их знала каждая собака, и личным оголтелым коммунизмом и сталинизмом искупали прегрешения тех неразумных своих братьев, мальчишек-колчаковцев. Но не о том у нас с тобой разговор.

Серж скептически отнесся к Зойкиной идее попытать счастья мне в далекой и враждебной Москве, да и родители мои с полным на то основанием крутили пальцем у виска. Но даже преодолев творческий конкурс, следовало еще и экзамены сдать, а я и до армии не блистал особыми знаниями, а уж после тайги под Читой подобен стал круглому идиоту. Но и тут помогло провидение мне: на экзамене по английскому языку, когда я не смог сложить двух слов в одну фразу, принимавший экзамен преподаватель сказал сакраментальное и неожиданное для меня:

— Конечно, языка вы не знаете, но у вас будет хороший преподаватель, Нелли Александровна Иванова, — надеюсь, она вам поможет дело исправить...

И поставил мне незаслуженную совсем «тройку».

Читай же, Сероштан, между строк: экзамены были простой формальностью в Литинституте, решение о зачислении уже были приняты коллегиально старшими товарищами во главе с ректором В.Ф. Пименовым.

Но кто-то, естественно, и не проходил даже при таком благоприятном отношении к нам: абитуриенты жили в общаге на Добролюбова, пили, конечно же, страшно — когда еще вырвешься в Москву, да в литературную такую тусовку?.. Я и сам так считал, участвуя в ночных застольях-загулах, в купании в Останкинском пруду возле церкви, под телевизионной страшненькой башней, целуясь напропалую с девчонками, пьяные поэты из Тьмутаракани и Мухосранска драли глотки, с завыванием читая стихи под В.В. Маяковского: содрогнись же, Москва! Мы уже здесь! — и я думал во хмелю: все это буду я вспоминать в Кобеляках — этот звездный мой час... Расскажу Сержу и Зойке, что такое настоящая литературная жизнь... (Я ведь не мог даже предположить,

что меня зачислят, — так, погуляю от пуза здесь, в литературной общаге, побухаю да потреплюсь языком с новыми своими знакомцами-оригиналами да вернусь покаянно на ворсклинские берега раны зализывать. Зато будет что вспомнить!)

Был среди абитуриентов такой рыжеволосый Лебедев, родом из Вологды, имени его, к сожалению, я не запомнил. Так вот он был старожилом, можно сказать, на Добролюбова, 9/11 — три или четыре года подряд его по-настоящему талантливые рассказы с легкостью проходили творческий конкурс — он давал их читать всем желающим, — мы же делились друг с другом написанным, и я даже немного их помню, то есть помню сам дух тех рассказов, другое же стерлось из памяти, — Лебедев приезжал из своей Вологды на экзамены и сразу же уходил в общаге в сущий запой со всем из него вытекающим. Конечно, ни на один экзамен он не являлся на Тверской, 25. Затем Лебедева комендант общежития с добровольцами-помощниками вытаскивали под белы руки на остановку троллейбуса №3, грузили в переднюю дверь, и Лебедев отправлялся в свою Вологду зимовать. На следующий год в установленный срок он снова присылал в приемную комиссию новые рассказы и снова успешно проходил творческий конкурс, приезжал на Добролюбова, 9/11 — и все повторялось сначала вплоть до передней двери троллейбуса №3. При этом надо сказать, что рецензентами у Лебедева были разные писатели, — и *все давали «добро»*...

Что тут сказать: невероятно талантлив русский человек, но его первый враг — сам он. Сгинул тот Лебедев без следа, к сожалению, а ведь мог...

Мог. И если бы Лебедев был один такой, увы... Навскидку могу назвать десяток талантливейших людей, которые погибли от водки, не дожив до окончания института.

И не только от водки. Некоторые выбрасывались из окон верхних этажей — помню двух девушек-поэтесс... Нет, не надо об этом. Это — особая тема, и не тебе, Сероштан, о том рассуждать...

Когда же все благополучно завершилось, и я вернулся собирать на отъезд барахло в Кобеляки, мой друг Серж словно с катушек слетел: он никак не ожидал, что наша с Зойкой афера закончится таким образом. Чего больше здесь было — злобной зависти, неискренности в прошлых наших дружеских отношениях, уязвленного самолюбия — ведь он давно поставил на мне крест и даже позволял себе временами подтрунивать надо мной: слесарь-наладчик, рабочая черная кость, уркаган кобелякский... Но я пропускал это мимо ушей, — мы ведь часто ссорились с ним, рвали бумаги, испещренные нашими литературными упражнениями-испражнениями, он психовал, да и я тогда не был особо ценным подарком, дело иногда едва ли не доходило до кулаков, — поэтому этим подтруниваниям я не придавал особенного значения, но в августе 1977-го моим неожиданным зачислением в Литинститут нашей многолетней дружбе нанесена была смертельная рана: Серж за это меня не простил. Хотя — за что тут мне нужно было каяться?.. В укоризнах его было и совершенно запредельное для меня: ты решил делать литературную карьеру и воспевать партийное руководство, в частности (почему-то) товарища Шелеста, возглавлявшего незадолго до того ЦК компартии Украины. (Шелест был снят с этой должности в 1973-м году). Но — когда я подавал хоть малейшие поводы для таких обвинений?.. Разве я писал и публиковал у Фрумкина к торжествам 1-го мая и 7-го ноября слюнявые позорные восхваления этих праздников? Нет же! Как мог он мне приплести этого Шелеста?!.. Зимой 1977-78 годов наши отношения закончились полностью. Я открывал для себя невероятный творческий мир, который просто фонтанировал на Тверском, 25 — потрясающие лекции К.Кедрова, Е.Лебедева, Вл.Гусева, Вл.Смирнова, М.Еремина, встречи с писателями, мастер-классы А.Крона, В.Розова, Н.Евдокимова — ну и что, что пока я не читал книг, написанных ими, ведь все еще можно было исправить, — я писал ворохи писем в Кобеляки и в Кременчуг — Зойке и Сержу, рассказывал обо всем, что открывал для себя и чего нам там, дома, так не хватало, — звал их в Москву послушать эти дивные, блестящие лекции, — может быть, во всем этом была и похвальба, и гордыня, — скорее всего, — и Зойка с Сержем ощущали себя убогими и обделенными, — это сквозило в письмах от Зойки, Серж практически мне не писал. На зимних каникулах они все же приехали. В общаге чувствовали себя чужаками, естественно, — я приводил их в какие-то компании и на литературные беседы со своими однокурсниками, — казалось, им ведь этих разговоров так не хватает на Украине: будем обсуждать Германа Гессе, Маркеса с Кортасаром, ребята! — но все было тщетно. Они замыкались, надувались, обижались и снова укоряли меня Бог знает в чем. «Ты отдаляешься от нас. Ты стал другим». А разве следовало мне оставаться все тем же Сероштаном, наладчиком швейных машин? Слушая такие сокровенные, заветные лекции о литературе, о религии, об истории — и внутренне не изменяться?.. Да вы просто смеетесь надо мной, Зойка и Серж!

Но они, мои замечательные друзья, не хотели моих перемен.

Затем мы отправились в Тверь, в гости к нашим добрым друзьям, которые накануне моего поступления перебрались с Украины в Россию — журналисту Диме Тараненко и его жене, удивительной, невероятно талантливой поэтессе Алине Котолевской, женщине весьма драматических — как человеческой, так и творческой — судеб. Там, в общем нашем алкогольном угаре, все закончилось уже навсегда. В Москву мы вернулись чужими людьми. Через несколько лет, в Кременчуге, — *всего только раз* — мы столкнулись случайно на троллейбусной остановке, — прошли мимо друг друга, не поздоровавшись даже, будто бы незнакомцы.

Все стало, а может, и было, — gaga...

Глава 7. ЗОЙКА СКАЖЕННИК

Сократ Иванович Фрумкин долго не мог решить для себя эту дилемму: поп Георгий Гапон, который вывел рабочих на знаменитую демонстрацию 9 января 1905 года, кем все-таки был — революционером, предтечей славных свершений великой Октябрьской революции или же реакционером-мракобесом-церковником — ведь поп Гапон верил, наверное, в Бога, раз ходил по революционному Санкт-Петербургу с иконой Спасителя и под черной, страшной хоругвью Союза Михаила Архангела? Потому он так и не смог до конца определиться со своим отношением к Зойке Скаженник, внучатой племяннице того самого любимца рабочих, которых тот и подвел под монастырь, то бишь под расстрельные пули царских солдат на Дворцовой площади 9 января. То Фрумкин милостиво трепал Зойку по рыжей макушке, то смотрел сычом на нее, не в силах простить даже через три поколения вполне себе социальное гапоновское православие. Зойкина мать, лучший кардиолог в нашенских Кобеляках, была урожденной девицей Гапон, а ее покойный отец — был младшим братом знаменитого проповедника и по совместительству революционного провокатора, с чьих однозначных призывов и действий началась кровавая вакханалия событий всего 1905 года. В 1937 году сталинские дознаватели, подобно нашему почетному чекисту товарищу Фрумкину, тоже не смогли разобраться со старшим братом Гапоном, потому на всякий случай приговорили младшего брата к расстрелу, так что Лариса Павловна выросла сиротой, что не помешало, однако, ей получить хорошее специальное образование, стать выдающимся кардиологом и уважаемым на Украине человеком, завсегдатаем и непременным участником всевозможных медицинских съездов и конференций. Она ненадолго вышла замуж за харьковского профессора Скаженника, он стал отцом ее единственного ребенка, моей незабвенной подруги, а вернее бы сказать — друга, потому что ничто, скажем так, любовное или эротическое нас с Зойкой не связывало никогда. Вот есть распространенное мнение, что мужчина и женщина не могут никакими быть друзьями, только любовниками, и всегда в их отношениях, даже самых интеллектуально-возвышенных, присутствует взаимный половой интерес. Вот тут-то мы с Зойкой и опровергли эту теорию: даже когда мы приперли в приемную комиссию мою злосчастную конкурсную работу и, сдав ее на Тверском, 25, нашли себе на пару ночей комнату в районе Медведково. Хозяева квартиры — дядя Саша и тетя Тоня — всю ночь прождали, притаившись под дверью, сокровенного и сладостного соития молодой парочки, но ничего так и не дождались. Мы же после трудного и волнительного дня лежали в одной постели, сказавшись супругами для наших хозяев, но вместо ожидаемой ими эротической оргии, чуть ли не до утра разговаривали и спорили о нашей любимой литературе, о наших любимых прочитанных книгах. Утром же неудовлетворенный нашим неадекватным поведением дядя Саша спросил:

— А кто такая Кафка?..

Зойка любила рассказывать эту историю.

Она была моей одноклассницей в старших классах средней школы №2 в Кобеляках, причем открылась мне с неожиданной стороны только в середине 10-го класса, на самом излете школьной поры. На уроке обществоведения классу дали задание написать творческую работу «В чем я вижу смысл своей жизни». Кто-то смысл этот видел в строительстве коммунизма — причем таковых оказалось подавляющее большинство, Слава Шляхов, мой корефан и сосед по двору, видел смысл жизни в подготовке своего тела к полету на Марс (жизнь спустя Слава умер от алкоголизма в родных Кобеляках, где провел долгие годы за баранкой таксомотора), Шоня, как будущий строитель и проектировщик инженерных сооружений, блеснул совершенно бредовой идеей посвятить свою жизнь осуществлению мега-проекта — постройке автомобильного моста между российским Кавказом и украинским Крымом в районе Азовского пролива — кто мог представить тогда осуществленным этот проект? Таня Рыло хотела родить побольше детей, Рая Работа — написала тоже о детях и о том, чтобы помогать старикам, переводить через дорогу, носить им из гастронома продукты, красавица

Лена Никитина мечтала разгадать тайну человеческого долголетия и изобрести такую вакцину, чтобы человек жил веками, как библейские праотцы, — Лена умерла от гипогликемической комы, не дожив до 40 лет, — но наше будущее было скрыто от нас до поры, и в этом было милосердие Божие, — ну а я... Я, как записной декадент, у которого уже давно *все прошло*, так и написал, что все бессмысленно, ибо все есть — *дада*. Наш учитель обществоведения и истории по кличке Пифагор перед всем классом отчитал меня: в то время как космические корабли бороздят просторы вселенной... — и дальше по тексту — злонамеренный Сероштан, у которого кто-то отнял все надежды на светлое будущее нашей страны... — и дальше по тексту... Да как смеешь ты, такой-рассякой!.. Вон Шляхов, даром что двоечник, хочет на Марс, Шостак — соединить несоединимое силой дерзновенной мечты комсомольца — Крым и Кавказ, а ты... — и дальше снова по тексту. Сообщили и моим родителям, но я уже преодолел тот физический возраст, когда при помощи шланга от стиральной машины и трофейного вермахтовского ремня можно меня было попытаться заставить во что-то поверить и что-то принять как аксиому, — но с этой творческой работой я ведь вовсе и не думал встать в какую-то позу и как-то выделиться — я искренне все это написал. Как думал, как чувствовал. Мне было горько отчего-то. Да и, если разобраться по сути, кому и что пытался я доказать? Пифагору? Или своим одноклассникам, от которых я почему-то все более и более отдалялся, даже от Шони? Серж уже уехал в медучилище в Кременчуг, книги уже не разделяли моего одиночества, девушки у меня не было, посиделки за сараями в нашем дворе и подогрев «солнцедаром», тайная раскурка подобранных на улице бычков меня уже тоже не удовлетворяли, — музыка, может быть, музыка только и держала меня на плаву, но и с ней что-то уже было явно не так: Led Zeppelin после 4-го альбома разразился невнятным «Houses Of Holy», 1973, (понятно, что новые диски так быстро не доходили до нас, и «Houses Of Holy» я слушал в записи, переданной мне все тем же Вовушаном, некогда просветителем Кобеляков, с водителем рейсового автобуса Кременчуг-Кобеляки), Хендрикс, Моррисон и Джоплин померли в 27 лет в один злосчастный 1970-й год, как будто бы сговорились (но и эта новость достигла наших сердец только спустя три года), Beatles распались, улыбчивые Bee Gees скурвились и начали играть голимую попсятину, вскоре перешедшую в ненавистное *диско*, в общем, все вокруг — и во мне — было плохо. А тут еще Пифагор меня приложил: ответь, как на духу, Сероштан, кто лишил тебя веры в светлое будущее? А кто, действительно? Кто меня лишил чего-то такого? Надо было еще старого большевика-ленинца Фрумкина вынуть из нафталина и привести на этот суд Пифагора и товарищей-одноклассников, — он бы напомнил, как я расстрелял кровавого Ленина на иконе на форпосте в год 50-летия революции.

Класс смеялся, девчонки хихикали. Будущий марсианин Слава Шляхов показывал дули... Ну что же, я выставил себя дураком, — не впервой...

И я неожиданно, не отдавая себе в том никакого отчета, передал по рядам эту свою творческую работу — по какому-то странному наитию — Зойке Скаженник. Помнишь, в фильме «Доживем до понедельника» герой говорит о том, что счастье — это когда тебя понимают. Вот это в полной и совершеннейшей мере оказалось присуще рыжеволосой Зойке. У нее был удивительный и редкостный дар — она умела слушать и понимать. А мы ведь как раз слушать-то и не умеем. Потому так много в этом мире одиночества и непонятости, а следовательно, и ненужности никому. Вся наша жизнь — сугубый внутренний и внешний эгоизм, замкнутость на себе.

После уроков мы до самого вечера бродили по набережной Ворсклы и без устали разговаривали. Я рассказал ей о Серже, о наших литературных попытках постичь этот мир посредством слова, о самой литературе, которая становилась для нас бо льшей реальностью, чем дни, в которых мы пребывали, об изжитости школы, о наших детских мечтах, о стремлении куда угодно уехать, но только прочь с этих улиц, из нашего городка...

Да ты и в армию так настырно стремился, в подспудной надежде просто исчезнуть, вырваться из болота, куда погружался каждый, кто там оставался...

Может быть, все это было всего лишь иллюзией — ведь куда ты денешься от себя самого? Все свое — доброе-злое — ты носишь в себе, и от себя никуда не деться тебе, куда бы ты ни попал. Знаешь, у нас ведь были в институте некоторые ребята, которые за пять лет учебы так ни разу и не увидели Красную площадь: Тверской, 25 — троллейбус №3 — Добролюбова, 9/11 с прилегающими винным и продуктовыми магазинами... А ведь Литинститут — творческий вуз, и студенты там — будущие писатели. Но нет...

Это даже несмотря на то, что от Тверского по тогдашней ул. Горького, ныне Тверской, до Красной площади было идти 12 минут...

Жили полной жизнью и без того: лекции, ночной преферанс, романтические отношения, скажем как можно мягче, с однокашницами, возлияния по поводу и без

повода, бесконечные разговоры о литературе и творчестве, сочинительство в меру — раз в полугодие следовало обсудить написанное тобой на творческом семинаре, каникулы с отъездом в родные края — при чем здесь, спрашивается, Красная площадь с торчащим там коммунистическим зиккуратом?

Ну да... Вполне можно и без этого обойтись.

Зойка со своими подругами тоже пробавлялись сочинительством, писала бессюжетные, скажем так, «настроенческие» новеллы. Конечно, сегодня трудно определить степень ценности и оригинальности их, потому что этих текстов у меня нет, — да и положив руку на сердце — стал бы я сегодня перечитывать их? Вряд ли, наверное. Но тогдашнему мне они вполне приходились по душе: что-то мечтательное и романтическое, опавшие листья и одинокая девушка, перебирающая их тонкими пальцами, смутные пробуждающиеся желания, томления о любви, — ну, ты понимаешь эти архетипы, — в той или иной степени это свойственно, вероятно, каждому подростку женского пола, — мечты, беспредметная грусть и томление бесконечного ожидания принца, который вырвет тебя из этого блеклого, суконного мира, и ты полетишь, полетишь — в блистании солнца, на тугом крыле ветра, куда-то в запредельное счастье... Но мне — нравилось это даже больше того, что мы сочиняли с Сержем, — вероятно, открытое сердце вкупе с открытой душой вступали в некий резонанс с тем, что было написано Зойкой, и сами слова, и то, что они обозначали, становились вовсе не важными, ибо ты сам все домысливал, дочувствовал, допридумывал, — удивительное ощущение сопричастности, словно это писано изнутри тебя самого, — это было подобно тому, что можно назвать первой любовью, но не хронологически «первой» в жизни, но началом любви, влюбленностью, что ли, когда ты, очарованный человеком, воображаешь в нем то, чего в нем нет даже близко, домысливаешь за него, допридумываешь, а когда время приходит узнать объект твоего воздыхания ближе, когда флер этот развеивается и спадают покровы неведения и загадочности, наступает весьма жесткое разочарование. Но уже — поздно: ребенок зачат, дом построен, «каратник» на милый пальчик посажен... Как же ты зубов не заметил?..

Такая любовь...

В этом сладком обмане — вечный двигатель жизни. Любовь — главное изобретение Бога. Без нее все бы давно прекратилось.

Давай без этих всхлипываний, Сероштан! Кому надо — и без твоей помощи почитают Шопенгауэра.

Наша троица — я, Зойка и Серж — стала попросту неразлучной. Зойкины подруги, пописывавшие по ее примеру нечто душещипательное и девичье, скоро писать, естественно, бросили по общей бесперспективности такого занятия, а мы же без устали опыляли друг друга. Зойка настолько стала мне близкой, что я по нескольку раз в день бегал на ее улицу, к ней, и делился самыми мелкими своими переживаниями: прочел книгу — обсуждать ее к Зойке, увидел симпатичную девчонку на улице — к Зойке с излияниями своих чувств к незнакомке, а уж когда в кого-то влюбился по-настоящему — от Зойки просто не вылезал...

Вот это уж действительно странно...

...тут и музыка: пичкал ее Элисом Купером и T. Rex; написал очередное стихотворение — к Зойке его декламировать. Лариса Павловна со древней старухой Гапон сперва напряглись такому неистовому напору с моей стороны, затем разобрались в моих действительных побуждениях, не знаю, может быть, и немного разочаровались — чисто по-женски — во мне и внимания на меня больше не обращали. Зойке же нравилось то, что я сочинял. И когда я как-то решил выбросить к чертям собачьим свою белую тетрадь со стихами, Зойка забрала ее у меня и сохранила «для будущего». Но и она со временем повзрослела и переосмыслила мои детские вирши — за несколько лет до смерти отдала мне эту тетрадь: выяснилось, что многие годы она лежала у нее под диваном, т.е., говоря другими словами, Зойка уже не придавала стихам моим той ценности, как в юности, в Кобеляках, она повзрослела и изменилась, и это было правильно, прекрасно и замечательно:

— Заберешь ее у меня?

Тут я пожадничал — и забрал.

Перечитываешь?

Конечно же, нет. Но когда раскрываю ее — с периодичностью в 10-15, наверное, лет, не устаю поражаться той пустоте и убожеству, в которых я тогда пребывал. Почему это было скрыто от Сержа и Зойки, да и от меня самого — не знаю. Тут уж точно, что *Господь целовал намерение* и ослеплял нас на известное время, дабы оперение наше ожестело, чтобы хотя бы один из нас встал на крыло и хотя бы один попытался на деле

осуществить наши юношеские мечтания, — не все ведь так глупо в детстве и юности, как кажется...

И вот теперь — их нет, они погибли в 2001 году, а ты все еще тревожишь их память...

Без них — где бы я был?.. Они оба — во всем были лучше меня. Я пил без меры не только в Кобеляках, но и в Москве, по мне ночью стрелял часовой под Читой — 12 боезарядов из «калашникова» просвистело над моей головой; в пьяном угаре чуть не свалился с обледенелой крыши женского общежития в увольнении в Чите — едва удержался тогда, размахивая руками на скользком отливе; к дембелю геройствовал уже так: мог из горлышка на 40-градусном морозе выпить без отрыва бутылку водки, утереть морду рукавом шинели и идти бедокурить и куролесить дальше с Петей Кухаром и Виталиком Чаркиным-Чарли; три месяца просидел в одиночной камере на гарнизонной «губе»; пил разведенный клей БФ (идея принадлежала джазмену Чарли), луковую настойку из аптеки (идея забубенного алкаша Вити Дудкина из леспромхозовского поселка, с которым мы приятельствовали), зубную пасту и сапожную ваксу (идея ефрейтора Сени Гертье, потомка наполеоновского солдата, застрявшего на века в русских снегах); чудом избежал дисциплинарного батальона, из которого я бы совсем не вернулся, пожалуй; воровал у разжиревших прапорщиков с армейских складов полушубки и менял их на водку; и много чего еще постыдного и позорного было, о чем на всякий случай распространяться не стану, потому что не поздно меня еще посадить лет на 20, — и вот — я еще до сих пор жив... Худший и поганейший из нашей не разлей вода троицы... В чем тут прикол, в чем замысел обо мне, столь никчемном?.. Зойка — профессорская дочь, нежнейший и изысканнейший цветок; Серж уже с 5-го класса ходил строго в костюме и в галстуке, папаша — освобожденный от работы парторг в «Красном свиноводе», в детстве — кличка Профессор; университет Харькова, мединститут Полтавы, — и никакого подзаборного грязного пьянства, как у меня, никаких одиночных камер в Сибири, ничего рискованного и безумного... Серж — тот вообще остался, можно сказать, дома: дальше Кременчуга он не уехал. Зойка в возрасте около 25 лет вышла замуж за Борю Горобца, примечательного во всем человека, и жила уже Бориной жизнью. О нем расскажу весьма кратко.

Боря происходил из крупной и крепкой взаимопомощью кременчугской еврейской общины, в которой весьма сильны были многовековые традиции предпринимательства и разного рода гешефтов. Вообще к слову надо сказать, что сам Кременчуг исторически был практически еврейским городом. Малороссы, или по-теперешнему украинцы, жили в селах в округе и в город особенно не стремились. Особенность Кременчуга еще заключалась в том, что он стоит на левом берегу Днепра, который испокон века был главной торгово-транспортной артерией Украины — летом население города утраивалось за счет сезонных рабочих, обрабатывавших разнообразные грузы, поднимавшиеся на грузовых баржах с низовьев Днепра — это были пшеница, бахчевые культуры, овощи, фрукты, соль и т.д. Табачную фабрику, которая работает до сих пор, тоже основали предприимчивые дети Израиля, и принадлежала она им до 1920 года. Здесь родились и жили знаменитые выходцы из кагала: голливудский композитор 1940-х годов Дмитрий Тёмкин, озвучивший музыкой десятки кинокартин золотой поры американского Голливуда, отец главного поэта советских детей Яков Маршак, да и писатели-остряки Ильф и Петров принудили своего юного литературного героя Осю Бендера провести здесь «голодное детство». Борина мать, внучка кременчугского раввина Цви Могендейла, рассказывала нам с Зойкой, как во время немецкой оккупации скрывалась на припсельских болотах, дабы не стать жертвой местного холокоста, — к слову сказать, в ее внешности совсем ничего не было специфически еврейского, она была даже весьма красива, остатки красоты сохранились до сих пор. Боря, к счастью, лицом походил на мать, а не на папу, Натана Горобца, чем нашу Зойку к себе и привлек. После окончания кременчугской 13-й школы Боря неожиданно (для нас, но не для своих соплеменников) стал жертвой пещерного украинского антисемитизма: когда он приехал в Харьков и сдал успешно вступительные экзамены в строительный институт, его почему-то не зачислили на учебу, хотя проходной балл Боря набрал. Когда они с отцом пришли к декану разбираться в явной ошибке, декан прямо сказал, что Борю они не берут *«по пятому пункту»*. Боря впоследствии весьма любил рассказывать эту историю. А я все не уставал удивляться этой дуроломной совдеповской логике: какие мощные козыри давали ископаемые коммуноиды этим ребятам!.. И — добивались, надо сказать, прямо противоположного эффекта. Оскорбленный и обиженный Боря отправился в Москву, и в Москве его, конечно же, приняли с распростертыми объятиями — ошибку дураков-харьковчан мягко исправили. Кого и как, спрашивается, защищали эти брежневские деканы в провинциальных вузах? Разве кому-нибудь — другой, допустим, национальности — они облегчили этим судьбу? Нет же, — но дали

могучие поводы к *законному* разрушению государства, после того как перестройка закончилась полным развалом страны и началась дикая и безудержная приватизация такими вот «жертвами государственного антисемитизма», подобными нашему Боре Горобцу. Ну а что тут? — все правильно: «Карфаген (в нашем случае, скажем так, Вавилон) должен быть разрушен, и блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136: 8).

К лету олимпийского 1980-го года нас всех, иногородних студентов, на месяц раньше отправили по домам на каникулы, дабы мы своим затрапезным видом не распугали ожидавшихся в несметных количествах иностранных болельщиков и любителей спорта. (Под это дело в нашей общаге 9/11 сделали косметический ремонт и — главное — ради все тех же иностранных будущих постояльцев, чтобы они о нас, не дай Бог, не подумали плохо, — вывели наконец-то полчища клопов, — для нас это стало главной победой Московской олимпиады 1980 года. Тараканы, правда, олимпиаду пережили без особых потерь). Излишек каникулярного времени Боря проводил на турбазе Кременчугского автозавода «Зеленая дубрава», там же оказалась с подругой и Зойка. В августе, несмотря на коллективные истерики Ларисы Павловны и древней старухи Гапон о пристойном поведении девушек и коммунистической морали, Зойка, презрев все условности, уехала с Борей на Черное море, а осенью, предварительно уволившись с должности секретаря-делопроизводителя нашей 2-й школы, и вовсе перебралась вслед за будущим мужем в Москву.

Я, конечно же, радовался этим переменам в ее жизни, но... Теперь уже пришел черед Зойки стать другой, измениться — она больше не принадлежала всецело мне, — и это понятно: в ее жизни появился мужчина, по естественному природному праву поглотивший и ее время, и ее чувства, и ее интересы. Я оказался на обочине, — ну а чего я хотел? Время от времени приезжал к ним с ночевкой в отдаленный московский район, где они снимали квартиру, мы выпивали втроем, разговаривали, но все уже было совсем по-другому. Зимой 1981 года они поженились. На их свадьбу меня угораздило припереться уже подшофе, в ресторане «Центральный», на улице Горького, я еще изрядно добавил напитков со свадебного студенческого стола, не помню, как и добрался до своего общежития, — на следующий день я улетал в Пицунду, в Дом творчества Союза писателей, — рейс я благополучно проспал, билет мой, купленный с большими трудами, как и все при Советах, пропал, и в Пицунду я попал только дня через три.

Вино по 10 копеек стакан на разлив из желтых бочек, в которых в Москве квас продавали, чача на местном базаре, испытываемая огнем — которая не горела, не брали...

По окончании МИСИ Борю распределили на север Тюменской области — возводить современные коммунистические города для нефтяников. Работяги-строители из Бориной бригады смеялись над ним: ты учился 5 лет в институте, а получаешь всего 300 рублей, а мы вот, не учившись нигде, кроме ПТУ в Салехарде, зарабатываем больше тысячи в месяц. Но правило здесь исполнилось следующее: Боря посмеялся последним. Тут надо сказать, и совсем не в укор, что Боре Горобцу весьма присуща была еврейская предприимчивость, выработанная гонимым по свету несчастным народом за тысячелетия скитаний по миру: Боря в свободное от стройки время занимался вполне профессиональной обивкой дверей в Салехарде, а затем и в Ноябрьске, — я по случаю помогал Зойке грузить в аэропорту рулоны дерматина и какого-то синтетического наполнителя; Боря ходил по новостройкам и предлагал новоселам утепление и обивку — успешно вполне, ну а кто же при запредельных минусовых температурах Ямала откажется утеплить входную квартирную дверь? — бизнес-модель вполне оказалась жизнеспособной; после 91-го года, когда многое стало разрешено и позволено, 20-тонными фурами Боря возил с московских баз глазированные сырки и деликатесы, самолетами отправлял лекарства, разную фармацевтику, презервативы, прокладки и прочие тайные причандалы для освобожденных женщин Сибири; затем Боря открыл первую частную аптеку, затем еще несколько — к 2000-м годам он уже владел двумя десятками аптек в нескольких северных городах — в Салехарде, Ноябрьске, Пыть-Яхе, Сургуте и Нижневартовске; успешно занимался и международным страховым бизнесом; занимался за определенный процент банковской обналичкой денежных средств и валютными операциями — тут он, правда, потерял около сотни тысяч долларов в августе 1998 года: обменял вечером знаемым бизнесменам доллары по 5 рублей, а утром доллар взлетел до 20, деньги же на обмены были у Бори заемные, разумеется, и пришлось их возмещать по новому курсу — после нескольких дней, проведенных в прострации, Боря встал и снова вернулся к делам. Но главные свои деньги Боря заработал все на том же строительстве — где были давние те работяги, насмехавшиеся над его зарплатой в 300 рублей? — прежде коллегиально, а затем уже в одиночку он брал такие рискованные кредиты, о которых я, к примеру, даже

и помыслить не мог, и к этому дню в сухом остатке — он владеет двумя громадными деловыми центрами, с магазинами и салонами в них — в Сургуте и Нижневартовске, а в Ноябрьске — оздоровительным центром с несколькими разными саунами, с несколькими бассейнами различного наполнения — с морской водой и такое все прочее, с гостиничными номерами, с услужливым женским персоналом...

При всех этих успехах Боря так и остался прижимистым кременчугским евреем. Да и странно было бы ожидать от него широты и размаха. В 90-е годы я весьма бедствовал, как и большинство наших людей, и Зоя уговорила Борю дать возможность мне заработать. Хорошо, сказал Боря и выделил некую сумму на закупку глазированных творожных сырков на складе в городе Одинцово с последующей отправкой их в Нижневартовск. Я нанял грузовую «газель», съездил на склад, затарился кучей сырков, свез это все на грузовую отправку в аэропорт Шереметьево, оформил все документы, расплатился с водителем... Надо ли говорить, что на все у меня ушло около 14 часов. Денег мне Боря, как оказалось, дал в сущий притык, и, естественно, их не хватило, и пришлось доплачивать из своих рублей около 500 к той сумме, которую выделил Боря. Я сообщил об этом по телефону в Ноябрьск — Боря остался недоволен моей работой, со скрипом возместил мне эти 500 рублей, о заработке же уже не могло быть и речи, — спасибо, хоть вернул свои деньги. Я высказал эти претензии Зойке.

— Я ничем тебе не в силах помочь, — сказала она. — Если тебя не устраивают такие условия — не работай на Борю. Других условий не будет.

Наверное, так и создаются крупные состояния. Я сделал, конечно же, выводы, но, как выяснилось, не очень-то непоколебимые: лет 20 спустя Боря обратился ко мне со специфической просьбой. Зойка к этому времени уже давно умерла, у Бори еще при ее жизни образовалась другая семья. Суть просьбы заключалась вот в чем: пару лет назад в баварском городке под Мюнхеном Боря купил за 3 миллиона евро усадьбу из нескольких удобных домов, в которых были две большие коллекции — медного литья и картин. Литье нравилось Боре, тем более прежний хозяин уверил его, что один из артефактов принадлежал Исааку Ньютону — о том свидетельствовала бирка, прикрепленная к изделию (ну, бирку любую можно нарисовать, замечу я от себя), а вот к картинам Боря остался вполне равнодушен, но он подозревал, да и ушлый немец его в том уверил, что картины — приятный миллионный, а может быть, даже и больше, бонус к усадьбе, и на них вполне реально хорошо заработать. Дело оставалось за малым — показать специалистам картины и хотя бы приблизительно оценить, а потом продать тем, кому они понадобятся. Боря спросил, нет ли у меня знакомых искусствоведов? Есть. Боря по электронной почте прислал мне пару изображений довольно старых, как мне показалось, картин с венецианскими видами. Я переслал их Светлане З., искусствоведу из Пушкинского музея, она через 20 минут назвала и автора, и время (60-е годы 20-го века, отнюдь не старинные) и даже не очень высокую продажную цену полотен этого живописца на одном из недавних аукционов в Европе (2-3 тысячи евро). Боря попросил договориться с ней о консультации. Я знал, что такие дела стоят денег, и по телефону обещал Светлане, что Боря, как состоятельный человек, заплатит ей, само собой разумеется, гонорар. Она, будучи небогатым совсем человеком, конечно же, согласилась. Тут и в моей богатой фантазии развернулись фантастические картины: Боря, как человек весьма занятой и малосведущий в изобразительном искусстве, поручит именно мне, московскому жителю, не чуждому разного рода искусств, заняться реализацией ненужной коллекции, и что-то на этом и я смогу заработать. Боря проездом из Ноябрьска в Мюнхен прибыл в Москву с полным набором фотографий отснятой коллекции. Светлана приняла нас в музее, в зале Рембрандта. Игнат, сын Бори и Зойки, пока мы разбирались с изображениями, видимо, заскучал после бурных ночей в Ноябрьском оздоровительном центре, которым он управлял по наказу отца, и я предложил ему, пока суть да дело, посмотреть картины в этом зале. Минут через 15 он вернулся к нам.

— Ну как? — спросил его я.

— Никак, — ответил Игнат, — Рембрандт мне не понравился.

В Пушкинском музее Игнат за свои 35 лет оказался впервые, по случаю.

Тем временем Светлана уже закончила с Борей, дала какие-то специальные рекомендации, о которых я распространяться не стану, Боря встал, протянул ей для рукопожатия руку, сказал «спасибо» — с тем мы и убыли из Пушкинского музея.

— А как же деньги за консультацию, Боря? — спросил я в машине его.

Может быть, подумал я, он с ней расплатился, пока я занимался с Игнатом?

— Какие деньги? Ни о каких деньгах не было разговора. Да и потом — она ничего особенного мне не сказала...

— Ну, дай мне хотя бы 5 тысяч рублей, я передам их Светлане — я ведь ей обещал...

— Пусть продает мои картины и получает с них 10%, — так ответил Боря на это.

Забыл ты свой давний одинцовский урок...

Позже пришлось мне со Светланой рассчитываться по-другому, по-свойски. Она открыла мне секрет полишинеля: ушлый баварец Борю нашего обманул, картины не стоили ничего. Но и такая информация, по сути — стоила денег вообще-то.

Никудышний из тебя бизнесмен, Сероштан. Давай уже досказывай свое о Зойке Скаженник.

В конце 80-х и начале 90-х годов среди советских евреев странным и непонятным образом начали распространяться слухи о неминуемых скорых погромах. Кто мог и хотел, уезжали в Израиль или в Америку, спасаясь от мифических разъяренных мужиков в косоворотках с дубинами, которые вот-вот ринутся непонятно за что крушить и резать несчастный еврейский народ. Я сам не однажды становился свидетелем подобных разговоров, причем велись они не какими-нибудь местечковыми хасидскими кумушками из Умани, а приличными, интеллигентными и образованными московскими физиками и биологами, кандидатами наук, работниками научно-исследовательских институтов. При этом главная проблема у этих биологов, по-видимому, заключалась в том, что они на пике 1000-летнего юбилея крещения Руси успели креститься, принять православие и даже по-своему воцерковиться, — а некоторые из них стали даже священниками по примеру о. Александра Меня, а таковых выкрестов уже в самом Израиле и за евреев не почитали, да и в Америке они лишались пособий и разных вспомоществований от «Бнай брит» и прочих благотворительных фондов. Я пытался биологам возражать:

— Да с чего вы взяли, что будут погромы? Разве есть к этому какие-то основания? Кто и как пойдет вас, евреев, громить? Как вы себе это представляете? Это вполне себе злонамеренные слухи, чтобы выманить вас из Союза зачем-то.

(В скобках замечу, что в середине 90-х годов примерно так же выманивали с Украины не только евреев, но и всех прочих, — уже в Аргентину. Кто и что о той Аргентине ведал доточное? Обещали гражданство и разные блага, но условие было жестким весьма: все здесь продать — квартиры, дачи, имущества и т.д. И только с деньгами, налегке, прибыть на новую родину. На Украине никогда жизнь не была сахаром, а уж в середине 90-х годов тем более: только-только отменили хождение купонов, народонаселение сократилось на 10 миллионов по сравнению с последним годом существования СССР, старики, лишенные пенсий и накоплений, собирали бутылки на свалках, квартиры, за которые на предприятиях при коммунистах работали по 25 лет, стоили сущие копейки — за 200 американских долларов можно было купить «однушку» в «хрущобе», — люди бросились в эту Аргентину, как в обетованную страну, без языка, без ясных целей, — просто спасаясь от голода и нищеты. Кто-то рассчитывал, вероятно, что из Аргентины легче будет перебраться в США и раствориться без следа в вожделенном «золотом миллиарде». Мои знакомцы без сожаления отрясали прах со своих ног и готовилась к новой во всем жизни: жгли семейные архивы и фотографии, сжигали мосты: никогда, никогда не вернемся мы в эти проклятые Кобеляки, на эту гребаную Украину!.. Отрезвление не заставило себя ждать: заокеанскому раю нужны были как раз эти их жалкие накопления, и после того, как привезенные доллары были истрачены просто на жизнь, т.е. вложены в весьма проблемную экономику Аргентины, наши наивные иммигранты оказались у разбитого корыта. У них открылись глаза на то, для чего и была запущена эта афера с гражданством, эмиграцией и остальными картонными пряниками. Те, у кого еще оставались какие-то крохи на обратный билет до Киева, возвращались домой. Но про Аргентину и свою недолгую жизнь там предпочитали не распространяться особо. Что стало с теми, кто остался там, в Патагонии, и попытался преломить по-настоящему свою злую судьбу, ничего неизвестно).

Тем временем вот что еще произошло примечательное, но уже настоящее, а не пустое, как с Аргентиной.

Объединившаяся благодаря Горбачеву Германия искупала грехи гитлеровского Третьего рейха: каждый из доживших до этой поры гастарбайтеров, угнанных, как говорилось на советском пропагандистском новоязе, на работы в рейх во время войны с оккупированных территорий, получил мзду в 200 марок за четыре года работы на немецкую экономику от правительства ФРГ. Дальше — больше: немцы приняли беспрецедентное решение о восстановлении еврейской диаспоры, весьма оскудевшей по известным причинам в военное лихолетье. Тут уже не было подвоха, как с настырным зазыванием в Аргентину. Немцы всегда и во всем были реальны, четки и обязательны. На хлеб, соль и социальные квартиры на окраинах немецких городов вкупе с месячным довольствием в 500 марок ринулись толпы оголодавших к этому времени украинских евреев из всех городов, городков и поселков — к слову сказать, убыл под Мюнхен в этом великом исходе и наш неутомимый общественник Сократ Иванович Фрумкин, который нес неустанно не только революционное красное знамя свободы и демократии для пролетариата, как знало все население Кобеляков в

возрасте от двух лет и до ста, но и на знаменитом на весь мир субботнике бревно вместе с Лениным, — Фрумкин вполне надеялся обрести себе новое и заслуженное всей его героической жизнью место в сонме немецких коммунистов — имена Либкнехта, Цеткин, Люксембург и прочих великих немцев вполне могли пополниться фамилией Фрумкин. Почему бы и нет? В это свято верила и его супруга Дора Михайловна. И если сам Сократ Иванович все-таки колебался и даже, страшно сказать, малодушничал: там же капитализм, куклус клан и неонацисты, то супруга твердо сказала:

— Сокя, мы должны ехать и мстить фашистам за ото, шо они сделали с нами в войну — за отой Холокост, — хай нас кормят теперь!..

Когда весть о том, что Фрумкины уезжают доживать свои долгие жизни старых большевиков к капиталистам и поджигателям войны, директор «Розочки» Панас Миронович Парнокопытенко весьма удивился:

— А шо, хиба Фрумкин — еврей?.. — а потом и добавил еще, хитрый хохол, о своем: — А если бы я захотел ото до немцев уехать?.. Пустили бы меня туда работать директором и жить припеваючи?

Но бывший парторг «Розочки» Иван Залудяк, заделавшийся после перестройки и независимости предпринимателем и открывший киоск с «Баунти» и со «Сникерсами» возле генделика на набережной Ворсклы, образумил когдатошнего своего директора и покровителя:

— Тебя немцы не пустят: мордой не вышел ты, Панас Миронович, живи ото в Кобеляках и радуйся незалежности и свободе от москалей!

Про то, чем же его физиономия все-таки не понравится немцам, Парнокопытенко, кажется, так ничего и не понял.

Сократ Иванович здраво все-таки рассудил: если Ленин и вся его большевистская гвардия не брезговали жить десятилетиями в Швейцарии и в Германии, то почему и ему не пройти по ленинским тропам политического эмигранта. У Доры Михайловны, как известно, были все же другие резоны.

Уехали во Франкфурт и пожилые родители Бори. Мне даже выпала честь их провожать: мы приехали в Кременчуг из Москвы на Бориной «люмине» по вопросу развития сети международного страхования, которым Боря успешно тогда занимался, но дело это не задалось из-за природной недоверчивости и опасливости кременчугских левобережных хохлов, — вот отправиться в Аргентину — это пожалуйста, но вложить деньги в страхование собственной жизни с последующим накоплением и получением в конце оговоренного срока кругленькой суммы в твердой валюте: *не, тут шо-то не то, не одманюйте, хлопцы, мэнэ,* — несолоно хлебавши мы возвращались с Борей в Москву через Киев и к киевскому эмигрантскому автобусу до Берлина подвезли созревших для окончательного отъезда старших Горобцов, — Борин отец прослезился, прощаясь с единственным сыном, он думал — по советской привычке — что навсегда уезжает с родины предков, но все оказалось не так. Натан Анатольевич затем несколько раз пригонял с таким же рисковым стариком-эмигрантом подержанные автомобили из Германии, делая свой гешефт, пока в Польше на них не напали бандиты. Польшу в ту пору следовало проезжать без остановки, а новые граждане Франкфурта расслабились и остановились на бензозаправке покушать. Пока они ели пляцеки, заправщики, бывшие в сговоре с преступниками, вызвонили летучую банду: горделивые наследники Речи Посполитой проездные деньги у них отобрали, набили морды, обозвали «жидами» и, главное, забрали старенький «опель», предназначенный для гешефта и заработка в Кременчуге. Натан Анатольевич обиделся за все это, особливо же за «жида», а Зойка потом вычитала, что в польском языке так называются люди еврейской национальности и что *жид, жидовин* и прочие являются производными от польского *Żid*. И в прошлом, и в настоящем — это официальный термин в польском языке и в литературе. Никакого другого обозначения *еврея* нет в Польше. Термин и слово не несут никакой эмоциональной нагрузки и пренебрежительной окраски, как показалось ее свекру, и *используются во всех официальных документах* Польской республики до сего дня. Натан Анатольевич после этого успокоился и не стал более искушать судьбу: начал жить в сущее свое удовольствие, лечиться, плавать в бассейне, гулять по шикарным и обильным товарами магазинам; когда же ему пришла пора заболеть, немецкие доктора его раскроили на хирургическом столе от горла до паха, все плохое и злокачественное вырезали, затем зашили и залечили, и все — самое главное — совершенно бесплатно. Так расплачивалась Германия за Холокост.

— Останься я в Кременчуге, — говорил Натан Анатольевич, — лежал бы уже на Реевке, а тут еще пиво вон пью и купаюсь бесплатно в бассейне.

Боря вывез в Германию и Зою с детьми, — ну а почему не пощипать немчуру, не поучаствовать в дележе казенных дойчмарок? — к тому же — а вдруг все же погромы начнутся? Да и на Западе жизнь все же слаще, сытнее, спокойнее, чем на вечной мерзлоте на Ямале, дети изучат немецкий язык, Игнат вот — пойдет учиться

в строительный колледж под Мюнхеном, — будем потом выходить с его помощью на международный уровень. Но сам — предусмотрительно остался на тюменских нефтеносных полях, рассудив вполне себе здраво, что такой прибыли, как в России в смутное время при Ельцине, ему в Германии никогда не поднять. И это, по сути, весьма было верно и правильно. Но Боря не был бы Борей, если бы и он сам фиктивно не оформился как беженец и иммигрант, — Зоя почти целый год получала пособия не только на себя и детей, но и на отсутствующего Борю, пока полицейский департамент не вскрыл этот подлог. Чем дело там кончилось, я не знаю, но немцы, свято чтущие порядок (Ordnung), попили крови у Зойки. Кажется, даже поставили ультиматум: или Боря приезжает жить в Германию и живет, получая вожделенный социал, или — семью выкидывают из бесплатной квартиры на улицу, а самому Боре пособия больше не платят. Конечно, Боря «выбрал свободу» и остался в России. Зоя же с той поры немцев иначе как фашистами не называла.

Что терминологически, конечно, не точно. В Германии при Гитлере был национал-социализм, или кратко — нацизм, фашизм же был в 20-е годы в Италии и, как это ни странно, у русских эмигрантов в Шанхае, — со свастиками и прочими прибамбасами.

Еще живя здесь, Зойка, всегда критически относившаяся к своей внешности, увлеклась хирургическими улучшениями своего тела: Боря безропотно оплачивал большие счета за откачивание жира с бедер, татуаж губ, подтяжки и т.д. Я же ее за это нещадно ругал.

— Зоя, мало того, что это дорого стоит, но это и больно, и вредно!..

— Я философски отношусь к боли, — отвечала мне Зойка.

В то время когда мы, можно сказать, едва сводили концы с концами, за откачку жира Зойка заплатила полторы тысячи долларов. Хотя, если разобраться, разве имело это какое-то касательство к нашим тогдашним проблемам? Конечно же, нет. Ругал я ее по старой кобелякской привычке. Может быть, подспудно нам обоим хотелось прежней нашей близости.

В Мюнхене она продолжила эти рискованные занятия. И вот однажды она решила убрать небольшой второй подбородок, который, по ее мнению, не красил ее. Операция эта, как мне говорили сведущие люди, примерно такой же сложности, как удаление зуба у стоматолога, но если стоматолог делает укол местной анестезии в десну, то пластические косметологи в Мюнхене применили общий наркоз. Зоя рассчитала, что операция к обеду закончится, и просила Игната заехать за ней в клинику. Неизвестно, чем косметологи в той клинике занимались, пока Зойка мирно засыпала на операционном столе, — может быть, пили чай или смотрели по телевизору немецкий комедийный сериал «Турецкий для начинающих», но, когда они подошли со скальпелем резать злосчастный второй подбородок, увидели, что язык пациентки запал в горло и Зойка попросту задохнулась. Ее откачали, и она осталась жива. Ей даже убрали все-таки тот подбородок. Но мозг ее, лишенный на какое-то время кислорода, погиб. Зойка прожила еще 18 дней, прежде чем умерла на руках безутешной Ларисы Павловны, прибывшей в Мюнхен. Рядом с ней были Боря и дети. Похоронили ее в немецкой земле.

Я бы понял, если бы все это произошло здесь, в России или на Украине, но в Германии... Можно даже при желании обнаружить здесь некий злой умысел или же просто роковое совпадение: через несколько дней должен был состояться суд по расторжению брака Зои и Бори, но умысла здесь никакого, конечно же, не было. Просто — судьба. Через полгода, с запозданием, я узнал и о смерти Сержа — его зарезали чуть ли не в тот же день в Киеве, в августе 2001 года. Как тут прочесть достоверно и точно эти метафизические знаки? Как это осмыслить, понять? Как тут не вспомнить, что не только Лариса Павловна, но и древняя старуха Гапон, отошедшая к Богу из этого мира в Киеве чуть ли не в столетнем возрасте, мечтали о том, чтобы Серж женился на Зое. Мы смеялись, конечно же, над этими бреднями, — но вот: умерли в один день... Что тут сказать?..

Зоя была, конечно же, застрахована в Швейцарии, да и с клиники Боря получил некую мзду.

— Если бы это случилось в Америке, — сказал он мне после всего, — я бы за Зойку получил с таких коновалов легко миллион «зеленью».

Но надо сказать и об отрезвлении Зойки к концу 80-х годов — отрезвлении от наших юношеских мечтаний, от этих новелл о любви, от моих графоманских стишат, — ведь недаром моя старая тетрадь, от которой она млела когда-то, уже годами просто валялась в диване, в пыли, и приуготовлялась на заслуженный выброс. Но это-то ладно, не о тетради здесь я толкую. Сказала мне как-то, как ударила в спину ножом:

— Не надоело еще тебе идти путем Эдгара По?

После окончания Литинститута прошло уже 7-8 лет. А чего я достиг? Ничего. Ни

работы по специальности, ни ожидаемой публикации в «Юности», где моя повесть пролежала на столе ответственного секретаря Алексея Пьянова три года, и он ее так и не удосужился прочитать, а когда все же раскрыл и посмотрел, изрек сакраментальное:

— Этот поезд ушел.

Поезд ушел, а я остался стоять на перроне.

Что еще, чем мне еще похвалиться? Ведь речь идет о каких-то итогах. В издательствах на волоске висели две мои книжки, и судьбы их до последнего оставались совсем непонятными. Я перебивался случайными заработками, сторожил от святотатцев Музей атеизма на Таганке, брался за любую работу, где хоть что-то можно было заработать на жизнь. Отправлял узбекам в Самарканд дефицитные листы оргалита с оптовых окраинных баз. Носил сумками к кременчугскому поезду «майкопскую» колбасу и сельдь иваси — Чиля заказывал. Чистил от снега крышу детсада на Малом Сухаревском переулке — детсад стал сегодня не нужен, а в помещении — подпольный обком коммуниста Зюганова. Кто бы мог такое представить в середине 80-х годов?.. Под именем одной критикессы рецензировал в «Юности» рукописи самотека, то же — уже под своим именем — делал в журнале «Октябрь», где в отделе прозы работал мой однокурсник Володя Малягин. Однажды даже продавал золотые швейцарские франки, отчеканенные в 1935 году и попавшие, надо думать, в Москву в трофейных чемоданах высокопоставленных победителей в 1945-м. А ведь я стал уже отцом троих крошечных пацанов, жили мы в трущобной коммуналке с проваленным полом и крысами, с алкоголичкой Раей Мостовой и ее неистовыми пиво-водочными друзьями из знаменитого на всю Сухаревскую округу генделика на Большом Головине переулке. Может быть, в этих моих неудачах и неустроенности повинны были те самые приветливые ребята, работники 5-го отдела КГБ СССР, хранители нашей идеологической девственности, из осени 1978 года — они ведь однозначно обещали мне непростую судьбу, или сам по себе был я во всем виноват — собственная моя нерасторопность, лень, непрактичность да и спорадическое неумеренное потребление мной крепких алкогольных напитков, — кто знает... Литературные судьбы, как известно, всегда не бывали простыми, безоблачными... Вот Зойка и помянула Эдгара Алана По, умершего в безвестности и нищете на чердаке. Прошла наша юность, рассеялись паром иллюзии, я понимаю, — но разве сюда, в эту серую и безрадостную жизнь сущего московского люмпена, пишущего непонятно что, непонятно для кого и непонятно зачем, я попал не без ее помощи, ее веры, ее дерзновения?..

— Зоя... — сказал я на это и замолчал.

А что я мог ей возразить?

Глава 8. ЧАНА И МОСЬКА – КОБЕЛЯКСКИЕ ДАДАИСТЫ

Но прежде Москвы вспомни же, Сероштан, была еще и Чита, и твое томление в Кобеляках, пока тебя наконец-то не забрали тщанием майора Бегмы отсюда долой и не препроводили в Сибирь отдавать почетную обязанность, где уже другой майор-особист выявил тебя как врага трудового народа — и навсегда поставил тавро на твоем лбу дурака...

Я снова идеализирую и, скорее всего, сужу по себе самому, по своему внутреннему умонастроению. Да, я хотел отправиться поскорее в армию, но не потому, что я был таким милитаристом или хотел пострелять из автомата, нет, — но призыв на службу, как мне казалось, разрешал накопившиеся во мне некие тяготы, был тем рубежом, который мне, даже помимо моей воли и тщания, предстояло неминуемо преодолеть. Я знал, чего я лишаюсь, вернее, до поры и во всем объеме, конечно, не знал, потому что дальше невозможности слушать музыку и носить длинные, как мне казалось, волосы — а они-то всего-навсего немного прикрывали уши, — ну и, быть может, шляться по набережной Ворсклы в разговорах с Сержем — о книгах, с Зойкой — о жизни, с Вадюрой — о музыке, или с Шоней — обо всем остальном, — этого, так думал я, неведомая армия меня и лишит. Ну и эти два года жизни — разве можно было что-то представить о них и как-то их осознать и осмыслить, если они даже еще не начались, не продлились и не завершились? Нет, все не так. Я не был милитаристом, но влекла меня неудержимо вот эта самая возможность — просто уехать отсюда, из осточертевших мне Кобеляков, с этих улиц, от этих людей, от этой жизни, словно залитой жидким стеклом или янтарной смолой, в которой гаснут движения, угасают порывы, свойственные весьма кратко нескольким годам молодости, умирает душа и все остальное — будущее, чужие свершения, политика и история — становится безразличным, неважным. Сегодня я могу задать себе самому, тому прежнему Сероштану, который изнывал до 19 лет от бессмысленных дней, месяцев, лет в Кобеляках, простой очень вопрос: а что мешало тебе собрать чемодан с барахлом и отправиться куда глаза гля-

дят? В Одессу, допустим, или в миллионный университетский Днепропетровск, в Харьков или даже — на худой случай — в Полтаву? Что держало тебя? И ответом, как ни странно, будет молчание. Может быть, что-то и держало меня в Кобеляках, не давало уехать оттуда. Но я — просто не помню.

Может, любовь?

Да что я знал тогда о любви, если и сегодня я ничего не знаю о ней? Иллюзия и обман: она подобна музыке — пока звучит — услаждает слух и волнует душу, а когда смолкает — исчезает в темных глубинах молчания и безвестности. Попробуй восстановить в памяти хотя бы не самую сложную баховскую «Кофейную кантату» во всем, что присуще ее затейливой инструментовке, переливам, искрометному юмору и игривости, — это ведь невозможно. Или надобно иметь феноменальную музыкальную память, — тогда, может быть, что-то получится. Так и любовь: остается только разве что смутное воспоминание о физической близости, о прикосновениях, о какой-то тактильности, нежности — но ведь не в этом же суть любви, это — тактильное — ее завершение или же дополнение. Вот любовь Петрарки к Лауре, или Данте к Беатриче, или Микеланджело к донне Колонне, — эту любовь *как* ты можешь осмыслить или понять, если физического, телесного и естественного так и не было ничего, а если было бы — мир не узнал бы этой высокой поэзии. Но — длилась и длилась эта божественная иллюзия — и слагались великие строфы:

Ужели, донна, впрямь (хоть утверждает
То долгий опыт) оживленный лик,
Который в косном мраморе возник,
Прах своего творца переживает?
Так! Следствию причина уступает,
Удел искусства более велик,
Чем естества! В ваяньи мир постиг,
Что смерть, что время здесь не побеждает.
Вот почему могу бессмертье дать
Я нам обоим в краске или в камне,
Запечатлев твой облик и себя;
Спустя столетья люди будут знать,
Как ты прекрасна, и как жизнь тяжка мне,
И как я мудр, что полюбил тебя.

Вот все здесь сказано — полно и точно. Остается только застыть в изумлении перед гением, — и молчать...

Как тут не вспомнить мне своего однокурсника, поэта Рашада Байдамерли, — он родился и жил до приезда в Москву в глухом азербайджанском ауле, — рассказывал: выйдешь из сакли и увидишь, как на другом конце аула девушка с кувшином к колодцу идет за водой, — и пишешь об этом стихи... Тоже ведь, скажем так, азербайджанский путь Петрарки и Данте...

Ну, в Москве он оторвался по полной.

Но историй про Рашада рассказывать я не буду ради их абсурдности и неприличия. Земные девушки вдруг оказались доступными и вовсе не ждали стихов от Рашада. Загадочность, тайна — исчезли. Не знаю, остался ли он поэтом и писал ли стихи после потери своих деревенских иллюзий. Как бы там ни было, но любовь к женщине, как одна из самых сильных иллюзий, во все века оставалась вечным двигателем этого мира — начиная от деторождения и заканчивая великими преступлениями. Ну, а между ними — искусство и литература. Так что на одном волоске висели Данте с Петраркой — слава Богу, что нравы в итальянских пределах были крепки и до срока незыблемы, потому и читаем то, что они написали.

Нет, не любовь удерживала меня в Кобеляках. Я не знал, что это такое. Да и потом, мое поколение, родившееся на Украине через десятилетие после того, как завершилась эта страшная война, которая, как Молох, сожрала наших дедов и искалечила внутренне и внешне отцов, будто бы восполнено было Господом нами, пацанами, мальчишками, будущими мужчинами, пришедшими в этот мир заменить мужским семенем и мускульной силой тех, кто погиб на фронтах. У наших матерей рождались мальчики — только мальчики, девочки были редким цветком. Вот я тут как-то посчитал на досуге детское население нашего большого двора в Кобеляках, состоявшего из нескольких двух- и трехэтажных домов послевоенной постройки, в возрастной границе от 1-го до 10-го класса и такую статистику обнаружил: пацанов было более 100 человек, девочек — всего 5... Так что о любви не приходится здесь говорить. Не в кого

было влюбляться. И, кажется, я вполне был похож на Рашада, только наши девочки с глиняными кувшинами за водой не ходили. Но стихи я, конечно же, тоже писал.

Нет, здесь было что-то другое, неотчетливое, зыбкое, странное даже — я отчетливо ощущал, или, может быть, мне это казалось, что некое метафизическое око наблюдает за мной, спокойно, мудро и терпеливо, прощает мне мои безобразия, мои непотребства, мою ругань, кощунства, «солнцедар» и «три топора», заблуждения и грехи, мою внутреннюю липкую грязь, мою испорченность и развращенность, — смотрит и жалеет меня. Конечно, все это субъективно я говорю, может быть, эта реконструкция — и ложна, и хлипка, и просто придумана задним числом, — но ведь нечто меня все же удерживало в Кобеляках. Шоня и Серж уехали уже, но на выходные они приезжали из Полтавы и из Кременчуга на автобусах, Зойка — оставалась до срока еще, и тут можно было бы сказать, что это от Зойки я уехать не мог, от наших бесконечных задушевных разговоров, — проще бы так было сказать, да и как я мог оставить ее прозябать здесь в одиночестве, в этом городишке, только и годном на то, чтобы отсюда уехать?.. Потому армия — была неким выходом. Дурацким, гипертрофированным, странным — но выходом для меня. Или поводом — уехать не по своей воле. «*Зоя, меня в четверг забирают...*» — и тогда это не было бы каким-то предательством, впрочем, и оно ведь, это мифическое предательство, существовало только в моей голове, в моей странной фантазии, — эта верность, о которой никто меня не просил и на которую никто не надеялся. Потому я, получив очередную повестку, исправно являлся в военкомат и даже с сожалением стригся по неукоснительному требованию майора Бегмы и вовсе даже не думал уклоняться от службы, хотя докторов во мне все-таки что-то смущало. Я был настолько уверен в том, что раз не взяли меня осенью 1973 года, то уж весной 1974 точно возьмут, и потому даже не собирался готовиться к поступлению в Полтавский пединститут, на филфак, куда не прошел летом после окончания школы, но весенний призыв-74 обошелся без меня: Бегма вызвал повесткой, заставил еще раз пройти медкомиссию и... оставил до осени чинить швейные машины на «Розочке».

Вадюру вот освободили по какой-то причине, Гену Черевика из нашего двора — тоже забраковали, — кажется, с головой у Гены не все было в порядке. А когда руки военного комиссара дотянулись до нашего Чаны, курильщика и алкоголика во все времена, сколько мы его знали, Чана твердо сказал всем нам, во дворе, что службу в армии он видел в гробу и что лучше он пойдет на зону, подломив ларек с ливерными пирожками на автостанции, чем ходить с автоматом по плацу и торчать в карауле возле военных складов, из которых ничего не сможет украсть, — ну а зачем Чане мины и снаряды, предназначенные для вражеских самолетов?

Тут Витя Кравченко, по прозвищу Моська, с которым мы в 5-м классе шмурдяком отмечали факт рождения Мариночки Шостак, младшей сестренки моего друга Шони, высказал вполне здравую идею о том, как избежать неминуемого призыва на службу: Чане надобно нанести увечья, совместимые с жизнью, а именно в нескольких местах сломать Чане левую руку, чтобы правой он все-таки мог поднести ко рту ложку с борщом, бычок сигареты или стакан с «бормотухой» для жизни и кайфа. Или же, как вариант, топором отрубить Чане указательный палец на правой руке: тогда, по распространенному среди пацанов поверью, в армию не возьмут точно, — ну а как без указательного пальца на курок автомата нажимать?.. Негоден, — получай военный билет! Но тут майор Бегма, будто бы читая мысли наших будущих уклонистов, озвучил в военкомате неожиданную угрозу: за членовредительство — а лишение указательного пальца на правой руке даже не будет расследоваться, потому что здесь и так все понятно, — такой призывник прямиком получает два года колонии и «волчий билет» на всю жизнь, так что, ребята, решайте — или через два года дембельнетесь с почетом, со значками ГТО и классности на груди и с целыми шкраклями, между прочим, или откинетесь из зоны через те же два года, только без пальца, который, как выяснил академик, кажется, Павлов, вовсе не вырастет снова.

Но в наколках блатных...

Здесь было над чем поразмыслить. Потому, следуя допотопному завету Михайла Ломоносова, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать», Моська придумал, а Чана скрепя сердце с ним согласился: все-таки ломать руку, пальца же топором отнюдь не рубить.

Чана только выдвинул условие:

— Шоб только не было больно!

Тут как раз из Кременчуга приехал будущий фельдшер Серж, и его попросили поприсутствовать на случай вполне вероятного травматизма. Серж, разумеется, покривился такому вопиющему плебейству и дури, но все же не отказался: хотя он еще и не давал клятвы Гиппократа, но уже был к ней готов. Шоня тем временем принес пару бомб «биомицина» из генделика, в сквере под клубом имени Ворошилова вино

это мы потребили в себя, причем Чане ради предстоящего испытания не возбранялось пить из горла столько, сколько он мог и хотел. Затем наша компания зашла в Дом культуры, в мужской туалет. Пацаны закурили.

— Ну, Чана, с Богом! — напутствовал его Шоня, пока Моська забирался на фанерную стенку кабинки, — будешь первопроходцем! Бегма замучается теперь нас призывать! Может, и я пойду за тобой, хрен ли мне армия та!..

И запел дурным голосом «July Morning» с альбома «Look at Yourself», 1971, группы Uriah Heep, сентиментальный пеан того года.

Моська оказался весьма изобретательным и придумал, как грамотно поломать Чане руку: Чана встал на колени возле раковины унитаза, левую руку обнажил до плеча и положил ее поперек унитаза в ожидании освобождения от армейского призыва и военного билета от Бегмы. Моська тем временем залез на стенку кабинки, собрав по пути на волосы своей головы всю серую паутину, со времен революции не сметавшуюся со стен и потолка мужского туалета Дома культуры им. Климента Ворошилова. Он стоял, придерживаясь за капитальную стену, на самой верхотуре и, покачиваясь от паров «биомицина», смотрел на нас. Серж брезгливо кривился, но все-таки улыбался. Шоня все хрипел английский пеан 1971 года и жестами подбадривал Моську:

— Та давай уже, прыгай в бассейн!

Чану же совсем от вина развезло, и он то ли задумался над унитазом о жизни, то ли уснул. Моська же, раскачиваясь на стенке, скалил свои мелкие, как у хорька, зубы и выделывался перед нами, смотрящими на него снизу.

— Моська, не томи, а то сейчас Фрумкин придет и потащит к Покиньбороде!

— Давай, Моська, мать твою... — пробормотал в полусне Чана.

Моська оттолкнулся от серой стены и прицельно солдатиком сиганул в унитаз.

Пока он с боевым воем летел в свободном падении к унитазу, в Чане что-то все-таки прояснилось, а может быть, даже и изменилось, — или он вспомнил о маме, или подумал о неминуемом будущем, или внутренне примирился с безжалостным Бегмой, грозой пацанов, а может быть, даже решил бросить пить и курить, отказаться от мелкого воровства и после армии без экзаменов поступить в машиностроительный техникум в Крюкове, а после — работать на КрАЗе, жениться на хорошей девушке из Песчаного, родить детей, завести гусей, откормить кабанчика, ловить в днепровских затоках сетью налимов и карасей, а тарань сушить по всем правилам в тенечке под марлей, а потом пить с ней ледяное пиво после трудового дня честного человека и — наслаждаться пивом и не напрасно прожитой жизнью, — и Чана в последний момент свою руку с унитаза убрал.

Шоня еще не успел допеть «July Morning», как Моська обеими ногами влетел в унитаз — грязно-коричневая от многолетних отложений солей ваза задумчиво треснула и развалилась на части, при этом одна нога Моськи провалилась еще глубже, в трубу, уходящую в пол, вымощенный кафелем еще, вероятно, при жизни генералиссимуса товарища Сталина, а нижней челюстью со всего маху Моська врезался в круглую и крепкую, как пушечное ядро Карла XII, безмозглую башку Чаны. Итог был плачевным: социалистическая собственность была безвозвратно испорчена, и директор Панас Миронович Парнокопытенко — Дом культуры имени Ворошилова принадлежал одеяльно-войлочной фабрике имени Розочки Люксембургочки — вчинил акт об ущербе старшим Кравченкам, и они ведь не могли отвертеться, как ни старалась, от Панаса Мироновича, ибо, как почти все в Кобеляках, были работниками «Розочки» — чуть ли не полгода с их зарплат бухгалтерия удерживала какие-то деньги — за поломанный унитаз, за разбитое зеркало, за сломанные перегородки кабинок, за написанное на стене неприличное слово, за засор канализации и раскрошившиеся от удара чугунные трубы, по которым сам знаешь что стекало в тихие воды Ворсклы и плыло через Днепродзержинское водохранилище в Черное море, а затем в мировой океан, ну и, конечно же, за разбитые стекла окон и за сломанный умывальник.

— Я передумал, я пойду все-таки в армию, — сказал Чана, вытирая кровь со своей головы: Моська зубами чуть не пробил ему череп, однако кость осталась цела, но скальп Чане Моська попортил прилично.

Мы с Сержем и Шоней бросились спасать было Чану, но вскоре выяснилось, что спасать надо как раз Моську. Он бездвижно лежал среди обломков унитаза и только стонал. Из трубы медленно и неотвратимо поднимались миазмы. Обе ноги у него были сломаны. Нижняя челюсть от удара о башку Чаны вышла из жевательных суставов-пазов, часть верхних зубов вылетела или раскрошилась. Кроме всего прочего, Моська едва не откусил свой язык, по крайней мере и через полгода после происшествия он едва мог разговаривать, хотя все проволоки, стабилизирующие обе поврежденные челюсти, у него уже врачи сняли.

Ну что мог тут сделать Серж, кроме того, чтобы переглянуться со мной и еще раз печально сказать:

— *Все — gaga*, Сероштан... Андрэ Бретон отдыхает...

Но все-таки — все-таки — не уйти от судьбы, как это ни грустно звучит. Или еще, как говорят те, кто что-то понимает в жизни: кто что призывает — тот то и получает сполна.

Когда пришла пора очередного призыва, ни Моську, ни Чану в армию не забрали: Моську по инвалидности — пока мы освободили его из канализационной трубы, пока кое-как тащили его в медпункт на «Розочку» — мы же все были под градусом после «биомицина», сместились кости сломанных в нескольких местах ног, врачи тоже чего-то не доглядели, да и какая там в те годы медицина была в Кобеляках, и когда сняли гипс, в котором Моська пролежал, закованный, как средневековый рыцарь от пяток до пояса, ноги оказались одна короче другой, а таких, как известно, не берут в военные космонавты. Чана же, пока Моську лечили, обобрал с компанией таких же, как он, какого-то подвыпившего мужика, вывалившегося из ресторана «Ассоль», при этом бедолаге угрожали перочинным ножом и словами обещали зарезать, если не отдаст кошелек и часы «Ориент». *«Кошелек или жизнь!»* — потребовал Чана. Не зря же ходил по субботам в кино в Дом культуры имени Ворошилова. Ограбленный оказался важной птицей из Кременчуга, — то ли юристом, то ли народным судьей, приехавшим по какой-то надобности в Кобеляки. Дядя Ваня Покиньборода Чану быстро вычислил и поймал, и суд дал ему пять лет тюрьмы. На второй год отсидки Чану убил часовой при попытке бегства из зоны. Чана не дожил даже до двадцати лет.

О том, чем закончился суд над Чаной с подельниками, мне написала в письме мать — к тому времени я уже служил в Забайкалье.

Глава 9. УКРАИНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ 9/11

Итак, ты вышел из кременчугского поезда на Курском вокзале Москвы...

И свято верил, что начинается настоящая жизнь, — все, что со мной происходило допрежь, было прелюдией, приготовлением к настоящему. Кобеляки, Чита, Кременчуг и мои замечательные друзья оставались, как жена Лота, в некоем окаменении прошлого, от которого я, по сути, бежал.

Но которого так и не преодолел до сих пор.

Та досадная неприятность с заведенным на меня следственным или каким там еще — политическим, уголовным — делом быстро забылась: ну а что там такого? Я написал убедительное объяснение, доказал, как мне казалось, тем, кому это впоследствии предстояло читать, какой все это бред — про американские машины, анекдоты и прочую чепуху, — нормальные, здравые люди посмеются над дураками из Бугульмы и сдадут в макулатуру эту пухлую папку, где ей самое подходящее место. Так думал я, — если вообще думал об этом. Я был распахнут, открыт этой новой жизни во всем — новым людям, вступающими в мою судьбу, новым друзьям, которых, конечно же, будет у меня очень много, но это уже будут не мои подзаборные приятели из Кобеляков, подобные Чане и Моське, любители «солнцедара» и рискованных экспериментов, и даже не дилетантствующие эссеисты, как Серж, а настоящие будущие писатели, тщательно и заботливо отобранные в наш институт со всего пространства Союза. (Конечно, сам я попал сюда совершенно случайно, по ошибке Григория Бакланова, — наверное, бывает и так. Но может быть, и я еще чему-то доброму здесь научусь? А если же вычислят мою бездарность и леность и отправят обратно домой в Кобеляки, на «Розочку», так хотя бы годик здесь, в Москве, поживу, подышу этим удивительным воздухом свободы — студенчества, творчества, этой особенной жизни...) На первой же лекции Кедрова — как обухом по голове: об Иисусе Христе, об архетипах, — тю, я не понял сперва, куда я попал. Может, в Загорскую семинарию? А Петро Майдаченко, мой земляк из Решетиловки, литературный критик и впоследствии друг, так прямо сказал, что на Кедрова остается только рясу надеть.

Помянув Петра, сразу же стоит сказать, вероятно, о том, что я неожиданно для себя попал в украинское землячество Литинститута, куда, кроме Петра, входили буквально несколько человек: Ярослав Довгань из Ивано-Франковска, поэт Ярослав Павуляк из Тернополя, который после окончания института женился на дочери влиятельного министра из ЧССР и уехал от коммунистического гнета с Украины в Братиславу, и только в 1991-м году вернулся «домів» (тут я использую галичанскую *гвару*), дождавшись падения коммунизма, поэт из Житомира Саша Рыхлюк — он издал всего одну книжку в 91-м году, не очень успешно занимался каким-то предпринимательством и погиб в автокатастрофе в начале 90-х годов... Петро, проведав, что мы прямо-таки географические соседи — Решетиловским перекрестком заканчивалась дорога Днепропетровск — Кобеляки и начиналась большая дорога на Полтаву, Харьков, Москву — сразу же заговорил со мной на нашем природном наречии. Тут надобно

сказать, что в наших левобережных городах все мы предпочитали разговаривать по-русски, как нам казалось, на деле же это была лингвистическая помесь украинского с русским, с некоторым вкраплением еврейского жаргона, привнесенного из Одессы, которая называлась *суржиком*, — на украинском же языке разговаривали, как правило, в селах, — мы, продвинутые меломаны, читатели и даже, скажем так, доморощенные эссеисты, презрительно называли украиноговорящих «рогатыми» и «чертями», — и вот теперь Петро Майдаченко иначе как по-украински со мной не разговаривал...

Вот такой парадокс.

Конечно, я знал *мову*, читал на ней и свободно при необходимости разговаривал — да и в школе нам преподавали украинский язык и литературу, но некоторые ребята, особенно дети русских офицеров-зенитчиков, освобождались от обязательного изучения этих предметов. Зойка, как ни странно, имея столь выразительную малороссийскую фамилию, которая дословно переводилась как «чокнутая» или же «сумасшедшая, бешеная», и при этом не будучи дочерью никакого зенитчика, тоже ухитрилась освободиться от изучения украинских языка и литературы. И вот теперь — в центре Москвы — мне приходилось ломать себе язык, чтобы разговаривать с Петром, Ярославами и Александром... Кто бы мог такое представить? К слову, владение литературным украинским языком позволяет мне до сих пор отмечать ошибки и неизбежные въевшиеся русизмы даже у профессиональных дикторов киевского телевидения, а тем более — у политиков, дело иногда доходит до анекдотичных ситуаций, но и простой народ в селах довольно нетвердо знает наше наречие. Пришлось мне в Великих Сорочинцах как-то гостить у своих родичей Немичей, и я, конечно же, разговаривал с ними *на мове*. Потом мне, правда, дядя Ваня Гребенюк, муж старшей сестры моего отца тети Шуры, сделал существенное замечание:

— Ты балакаешь так, будто с Канады приехал...

Старший брат дяди Вани ушел вместе с отступающими частями вермахта с Волыни в 43-м году и осел в Манитобе. Всю жизнь они переписывались, канадцы присылали фотографии своей благополучной жизни с машинами и домами и посылки с довольно никчемными байковыми свитерами диких расцветок, которые, похоже, раздавались в виде гуманитарной помощи нуждающимся украинцам диаспоры. После войны дядя Ваня провел около года на принудительных работах в колхозе за ушедшего с немцами брата и, вполне вероятно, до конца своих дней был под пристальным наблюдением КГБ. Радовался, что не посадили. Больше они так и не встретились никогда.

С дядей Ваней случился вот какой казус во время моего гостевания. Я растапливал печку и попросил дядю по-украински:

— Дайте мені сірники!

— Шо? — переспросил меня дядя Ваня.

— Сірники, — повторил я.

— Шо-шо? — снова переспросил дядя Ваня и насторожился, ожидая от меня какого-то подвоха.

— Та спички, — сказал я по-русски.

Дядя Ваня вздохнул с облегчением:

— Так бы и сказав! А то — дай йому сірники!.. Ич який! Сірники!..

Наше землячество собиралось время от времени в аспирантской комнате Пети Майдаченка на 7-м этаже 9/11, присоединялись к нашим посиделкам временами и украинские писатели-киевляне с Высших литературных курсов, члены Союза писателей, подобные Вадику Бойко, удивительно талантливому поэту и драматургу.

О Вадике следует побольше сказать. После того как ВЛК он закончил и вернулся в Киев, связь с ним у меня прервалась, и я ничего не слыхал о том, как сложилась его судьба, вполне успешная, надо сказать, и до Литинститута. И вот, вспомнив о Вадике в связи с нашим давним землячеством, я запросил Википедию и получил развернутый и подробный ответ: наш Вадик, к сожалению, уже умер в 2005 году, ему было всего 53 года, но, в отличие от многих из нас, времени на иллюзии и самокопание он не терял: легко и много работал во многих жанрах, оставив громадное поэтическое и драматургическое наследие, — здесь и пьесы для детей, и радиопостановки, и спектакли в перворазрядных украинских театрах, и спектакли для кукольного театра, работы на телевидении, сценарии для украинских сериалов вроде «Дачных страстей», множество драматургических сборников для детей, интенсивная переводческая деятельность, юмористические былины, песни и фильмы... Я знал, что отец Вадика тоже был известным детским поэтом, но из Википедии неожиданно узнал так же о том, что и его дед еще в 1925-м году издал поэтический сборник в киевском нэпманском издательстве «Семь»... Так что, по сути, поэтом Вадик стал уже в 3-м поколении. Кто из нас мог помыслить о таком генетическом литературном потенциале? Конечно, Вадик во всем отличался от нас, и главное — отношением к литературе и жизни. Он

запомнился мне удивительно легким и радостным человеком, невероятно щедро одаренным разнообразными талантами, и при этом он был совершенно по-украински химерным, по-советски и по-столичному — циничным, как плоть от плоти советского писательского сообщества — всему знавшим цену и не питавшим никаких иллюзий по поводу высокого и святого служения литературе, что было свойственно многим из нас, желторотых студентов, был прикольным и юморным. Когда Вадик заходил в комнату и начинал что-то рассказывать, через пять минут мы уже хохотали — и это несмотря на природную мрачность Петра, галицкую подозрительность обоих Ярославов и простодушие Рыхлюка. Вадик с легкостью необыкновенной писал стихи как по-украински, так и по-русски — на любую тему, хоть о Ленине, хоть о Сталине, хоть о любви, для детей и для взрослых. Так, к примеру, от скуки и ради прикола он избрал для себя шутливым объектом поклонения, а затем и расположился душевно к крестьянской девушке-жемайтийке из литовской переводческой группы Дануте Таугенайте, и каждый день, заходя на чашку чая, приносил ей новые и новые, написанные в ее честь стихи. Вадик — плоть от плоти соцреализма и генно-модифицированного писательства — мог сочинять без всяких угрызений совести на любую заданную тему, мог писать по заказу что угодно и сколько угодно, лишь бы только платили. Настоящий пролетарий литературной работы. В отличие от всех нас — настоящий профессионал. Кажется, он собирался писать по заказу, спущенному из ЦК или откуда там спускались в те годы идеологические заказы, роман о колхозе. Ну а что тут такого? Рассуждения о том, как «жить не по лжи», о паскудности и губительности для души такой откровенной продажности — все это Вадика совершенно не касалось и не волновало.

Так сказать, генетическая выносливость, формула на весь грядущий 20 век была задана для исполнения статьей Ленина «Партийная организация и партийная литература» 1905 года.

Конечно, и нам, студентам, пришлось изучать эту ленинскую мракобесную статью-установку, но все-таки мы (или, скажем уже, я, не стану за всех говорить) воспринимали ее как досадный анахронизм, да и время наше было другим — уже не сажали, не стирали в лагерную труху за то, что не следуешь указанным партией курсом, а просто-напросто — не печатали. И это оказалось для наших совписов пострашнее Лубянки, Лефортова и Бутырки. Я все по себе мерил, а когда вылупился из благодатного яичка alma mater и оказался на жестком, смертельном для многих моих однокашников ветру реальной жизни, то с удивлением и даже с изумлением узнал, что наши инженеры человеческих душ, по определению Горького, совписы с Безбожного и Астраханского переулков, в очереди стоят, чтобы продаться... Это потом они, когда перестройка закончилась разрушением государства, стали рассказывать, что всю жизнь тайно боролись с режимом, подсыпали тяжелый песок в идеологические резервуары и прочее. По меньшей мере — держали дулю в кармане. В этой связи снова о Вадике надо сказать. После того как он умер, его жена рассказала историю о том, как они в Киеве при Советах в день рождения Тараса Шевченка пошли с букетом цветов к памятнику поэта. Там уже дежурила краснознаменная киевская милиция, пресекая антисоветское возложение знаков скорби и памяти. Парочку задержали:

— Националисты? — задали вопрос на засыпку.

Вадик, конечно же, отбрехался:

— Не-не, товарищ майор-подполковник, мы — не националисты никакие, хай им грець, — просто девичья фамилия матери Кобзаря была Бойко, и я, член Спилки письменников, между прочим, таким образом дальний родственник Тараса Григорьевича. Шо, у меня нема прав в день рождения прадеда с цветами к памятнику прийти?..

Так что ничего за это им не было. Исполнили родственный долг: цветы возложили.

А ныне какая вакханалия в Киеве после так называемой революции достоинства 2014 года. Где те тупые менты, которые не давали к памятнику украинскому поэту приблизиться? Небось кричат громче всех теперь на майданах «Слава Украине!»

Кричат: кто девушку кормит, тот ее и танцует. Как и наши писаки с Безбожного. Да только покупать даже за ломаный грош наши олигархи их не хотят — не те времена, да и незачем. Такая вот горбачевская перестройка организма — как базиса, так и надстройки. Дрянь человек.

Но все же надо и успокоиться по мере возможностей: есть еще и высший суд.

Потомки разберутся, — как говорила Зойка Скаженник когда-то. Ты об этом? Но разве у них не будет забот других, как только во всем этом дерьме ковыряться? Божий суд — только память об нем может хотя бы на мгновение приостановить падение в бездну. Только это дает настоящую, а не иллюзорную надежду какую-то.

Когда Вадик, закончив учебу на ВЛК, уехал в Киев, у Даны Таугенайте осталась толстая папка стихов, посвященных ей нашим дорогим другом. И стихов, надо сказать, неплохих. Дана вернулась в Литву, в родную деревню, в родительский дом, и всю

жизнь проработала в районной библиотеке. Жизнь и учеба в Москве, у проклятых оккупантов и поработителей ее милой родины, думаю, стали ее счастливейшим временем, ее звездным часом. Ведь не только наш Вадик заваливал стихами ее, но и другие поэты из нашего дома 9/11, и ее по-настоящему все мы любили. Да и потом — это же все-таки юность была: «Девичья пора — юношам радость», как сказала американская поэтесса Джуна Барнс. А уж она знала, о чем говорила: прожила целых сто лет.

Даже ты, Сероштан, одно стихотворение ей посвятил...

Уже сейчас, в интернете, я вычитал фразу почившего Вадика о себе, об отце и о деде: «Всем нам, Бойкам, похоже, легче изъясняться стихами, чем прозой».

Да, это так.

На 7-м этаже, собираясь время от времени, мы пели украинские песни, разговаривали по-украински — кажется, в этом и заключалась суть землячества нашего, — хотя Вадик Бойко, надо сказать, как продвинутый киевлянин, довольно скептически относился к нашим решетиловско-житомирским посиделкам. Кем мы были в глазах Вадика? — робкими провинциальными графоманами из Решетиловки и Кобеляков, но и его изредка грызла тоска по галушкам и салу, потому он снисходил к нам из своих заоблачных эмпиреев и летучих стихов. Однажды мы принимали внучку Ивана Франко, классика с Галичины, — ее привела к нам Лиза Олексий, закарпатская русинка из Ужгорода, учившаяся в венгерской переводческой группе, — ну, не знаю, насколько эта престарелая дама приходилась внучкой писателю, автору «Борислав смеется» и прочих книг, ставших каноническими, но из уст ее извергался сущий галицкий яд, который к середине 90-х годов затопил уже всю Украину. Конечно, деталей мне никаких и не вспомнить, это понятно, но в ее лице я впервые столкнулся с настоящим униатско-бандеровским национализмом во всей красе, основой и живительной силой которого была сокрушительная ненависть к России. Конечно, наше землячество и близко не было таковым — надо сказать, что Петро, наш неформальный лидер и староста, недавно ради карьерного роста получил партбилет члена КПСС и, следовательно, исповедовал интернационализм, как это заповедано партией и правительством, но при этом со щирым патриотическим уклоном, — разговоры на *мове*, грустные народные песни о козаках, уходящих на сечу с татарами и поляками, о неразделенной любви и покинутых на околицах сел яснооких дивчинах, литературные новинки из Киева — я просветился тогда по поводу интереснейшего литературного эксперимента киевлян — *химерной прозы*. Правда, эксперимент этот быстро закончился и сегодня забыт, — Валерий Шевчук, Владимир Дрозд и другие стали моими весьма почитаемыми и читаемыми пристально письменниками. Я даже собирался написать для «Литературного обозрения» статью об этом течении, но дело отложилось по забытым ныне причинам, а затем и вовсе заглохло, а там и *химерная проза* эта сошла вовсе на нет. У Петра я впервые увидел и полистал примечательную «Иллюстрированную историю Украины» М.Грушевского, «Историю Русов» Г.Полетики, уникальное дореволюционное издание Словаря украинского языка, из которого я вычитал, что на Украине в то время бытовало 18 своеобразных наречий, а общего — литературного языка — вовсе даже и не существовало. Эти языковые особенности и до сих пор есть. Так, к примеру, житель Полтавщины, как я, носитель литературного украинского языка, с трудом понимает галицко-львовское прикарпатское наречие *гвару*, изрядно засоренное немецкими и польскими словами, и вовсе не понимает закарпатские говоры. А на *гваре* во Львове существует целое литературное направление, о чем никто на коренной Украине даже не знает, на *гваре* пела и известная в 90-е годы львовская абсурдистская панк-группа «Брати Гадюкіни». В основу же современного украинского литературного языка был положен как раз именно наш полтавский говор, да и по естественному, так сказать, праву: отсюда, с Полтавщины, за очень малыми исключениями произошли все украинские классики — начиная с Котляревского и заканчивая Тарасом Шевченко. Да и сегодняшний Союз писателей Украины чуть ли не на 80% состоит из выходцев с Полтавщины. Может быть, и в этом — в этих подспудных токах нашей земли — отчасти крылась причина наших с Сержем литературных потуг?.. Кто знает. С той давней поры наших разговорных и песенных посиделок у решетиловца-земляка на 7 этаже нашего общежития на Добролюбова, 9/11 я по мере возможности слежу за текущей украинской литературой, которая пребывает ныне в еще большем анабиозе, чем современная русская. Миллионные тиражи, щедрые гонорары, блага Литфонда в виде квартир и дач с прилагающимися за верную и безупречную службу гектарами плодородного чернозема, переводы на языки народов СССР и, главное, на русский, — все это осталось в социалистическом киевском прошлом, досталось сполна отцу Вадика, Григорию Бойко, и в его лице всему Союзу писателей Украины, ныне весьма враждебного как к русскому языку, так и к

России, быстро позабывшему руку, щедро и от души кормившую певцов ленинизма вроде Коротича и Драча, и всего этого уже не вернуть никогда.

И если бы кто-то спросил у меня, кого я считаю лучшим украинским писателем на сегодня, я бы назвал Владимира Диброву, в начале 90-х годов уехавшего из Киева в Гарвардский университет и преподающего там в Украинском институте. И хотя книги Дибровы время от времени издаются за счет автора в Киеве, на Украине он, к превеликому сожалению, практически забыт. Но о писательских судьбах и о сверхзадаче писательского творчества и труда, может быть, мне еще придется сказать несколько слов.

С Петром Майдаченко связь, к сожалению, тоже давным-давно прервалась — с конца 80-х годов. Со слов Дибровы я знаю о том, что Петро возглавил одну из кафедр в Черниговском университете. Про Ярослава Довганя ничего неизвестно. Следов его на просторах интернета я не нашел.

Глава 10. ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА ПОЛЬСКОГО РАДИО

К чему здесь Польское радио?

Из Кобеляков я привез старенький отцовский радиоприемник «ВЭФ» и в первый же вечер в общаге на коротких волнах поймал то, что мне было надобно больше всего: вот это самое Польское радио, «*программу тшичу*», по-русски же — третью. На Украине ничего иностранного радио не принимало, кроме Румынии на длинных волнах с осточертевшим Николае Чаушеску и народными песнями, на коротких же — сплошной рев советских глушилок и разве что джазовая программа на англоязычном Voice of America, да и то в неважнецком качестве, но джаз в те годы был малозначителен для меня. Здесь же, на Бутырском хуторе, в 9/11, в замечательном качестве радиоприема, я просто купался в рок-музыке, но это вовсе не были такие бездумные поп-программы типа английских пиратских Radio Caroline и Swinging Radio England конца 60-х годов, где из густого замеса однодневной попсятины и оголтелой эстрады можно было выловить что-то действительно путное, перешедшее потом и в 70-е, и в 80-е годы, ну, к примеру, классические вещи Джими Хендрикса, но серьезные музыковедческие программы. Ну, вот, скажем, мы хорошо знали пронзительную песню Creedence Clearwater Revival «I Put A Spell On You» с первого альбома 1968-го года, но кто там читал имена авторов, и мы в Кобеляках искренне считали, что сочинена она Джоном Фогерти, лидером Creedence Clearwater Revival, но поляки с Третьей программы просветили мою дремучесть и незнание: этот хит был сочинен в 1956 году, автор и первый исполнитель малоизвестный у нас Скримин Джей Хокинс... Поляки посвятили этому шедевру, его истории и куче перепевок, в числе которых был и наш Creedence, весомые два часа времени. Кроме того, в изобилии здесь звучали все новинки популярных в те годы европейских и американских групп (по-польски zespół muzyczny), был и джаз, джаз-рок и даже авангардный джаз, звучала разнообразная польская музыка, интереснейшие группы Skaldowie, Czerwono-Czarni, Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni, такие панк-группы, как Dezerter, Schizma, нововолновые T.Love и прочие и, главное, замечательный Чеслав Немен, удивительный певец, композитор и мультиинструменталист... Одним словом, как и с чтением в Кобеляках, так и с музыкой, в которых я почитал себя весьма сведущим, Москва поставила меня на присущее мне место — на последнее. До беспорядков на Гданьских судоверфях, когда на политическую арену вышла польская «Солидарность» во главе с «электриком» Лехом Валенсой, а прежде римским папой ни с того ни с сего избрали поляка — и все это сегодня однозначно читается как команда на тотальное разрушение так называемого «социалистического лагеря», — я днем и ночью не расставался в Третьей программой. Затем, в 1981 году, генерал Войцех Ярузельский, в тщетной попытке спасения социализма, ввел в Польше военное положение, и Третью программу польского радио благополучно закрыли вкупе с какими-то газетами и журналами.

*Увы, навсегда... Даже сегодня, при изобилии радиостанций FM-диапазона и музыкального Интернета, приличной музыки, как в той приснопоминаемой Третьей программе, погребенной воинственным Ярузельским, совсем не найти. Польское радио помогало тебе выживать, Серошта*н...

Внешне московская жизнь была подобна пестрой ленте, исполненной грома, шума, встреч, событий и музыки, но это первоначальное впечатление для выходца из тихих Кобеляков, спящих вечным сном под жерновами коммунистического строительства, было все же обманчивым, вполне себе иллюзорным, — гром, шум, разговоры и музыка рано или поздно заканчивались, и ты встречался нос к носу с каким-то довольно страшненьким неизбывным собственным одиночеством, засасывающим вакуумом...

По-другому — ты встречался с самим собой, Сероштан, со своей пустотой и

никчемностью, со странным и смешным ожиданием какого-то чуда, что вот еще немного тебе подождать, и все вдруг изменится...

Так можно с высоты сегодняшнего опыта рассудить, когда все уже позади — все гибельные ямы, капканы, когда тебя уже все, кто мог, предали и продали, а ты все еще жив, как ни странно, — чего страшиться теперь? Только ответа на Страшном судилище Христовом? А тогда — мне было всего 22, и что я там понимал в жизни, в Москве, в том, что избрал занятием для себя? Я по-настоящему оставался один, потому что мало того, что рядом не было Зойки, Сержа, Шони, Вадюры и даже Чана Лебедченко сгодился бы в сотрапезники и совопросники мира сего в этом моем невероятном одиночестве, слегка расцвеченном Третьей программой польского радио, но тут проще простого все понималось, а если не понималось, то чувствовалось, ощущалось: ты просто никому на хрен не был потребен. То, что тревожило, возможно, тебя, то, что ты посредством убогого слова пытался постичь на клетчатых страницах своей толстой рабочей тетради, — тоже никого не волновало, никого не интересовало. Провались ты сквозь землю, исчезни — в этом не спящем никогда Вавилоне никто этого не заметит, а если и заметит староста, что ты уже месяц не являешься на лекции на Тверской, 25, и кто-то известит его, что ты провалился под землю, — староста пожмет лишь плечами: *ну что же...* и просто по должности и для порядка известит учебную часть: *Сероштан провалился неизвестно куда, говорят, что под землю...* И, возможно, получит ответ: *как появится снова, пусть предоставит справку о том, иначе лишим Сероштана стипендии*. Или похитрее вопрос: *а кто — говорит?..*

Я перестал спать отчего-то, со страхом ожидая приближения ночи. Мои волосы, отросшие после возвращения из Забайкалья по тогдашней моде почти что до плеч, начали выпадать чуть ли не клочьями, — то ли московский воздух и экология были виной тому, то ли внутренняя болезнь, что точила и разрушала меня, то ли неумеренность в потреблении алкоголя в случайных компаниях в стенах 9/11 — ответа я не нашел до сих пор.

Да и нужен ли тебе сегодня этот ответ?

При этом все находилось в каком-то невероятном противоречии: блистательные и потрясающие лекции в институте, интенсивное общение с новыми знакомцами и теми, кого я начинал считать даже друзьями, открытие удивительных и невероятных писателей, о которых мы в Кобеляках даже слыхом не слыхали, и оставшихся со мной на всю жизнь, — Андрея Белого, Алексея Ремизова, Велемира Хлебникова, того же Набокова, а позже — Гайто Газданова, причем — заметь, это все русская литература, которой мы высокомерно пренебрегали с моими друзьями в Кобеляках и в Кременчуге, сосредотачиваясь по преимуществу на французах и немцах; а потом — античная литература — любимые Эсхил, Еврипид, греческие историки Геродот, Фукидид, Ксенофонт — кто и что я без всего этого?

Аза Алибековна Тахо-Годи...

Ну, это вообще запредельное что-то!.. Жена и сотрудница великого Алексея Федоровича Лосева, заведующая кафедрой античной литературы в МГУ, — она ведь в университете, кажется, не читала лекций студентам, а нам вот — читала, да только мы счастья своего не знали, не отдавали просто отчета, какие люди просвещают нас, вылезших из глухих закутков советской империи.

Помимо великолепной Азы Алибековны Тахо-Годи, еще одна женщина потрясла мою убогость и сугубую провинциальность — престарелая профессор Валентина Александровна Дынник, истинная царица интеллектуальной Москвы. Она преподавала нам средневековую зарубежную литературу, преимущественно поэзию вагантов и трубадуров, на которых специализировалась и которых перелагала по-русски. Кроме старофранцузской литературы, она была также переводчицей Франса, Бодлера, Верлена, Верхарна.

Вот, милый друг, и все мои писанья —
Примите их, за краткость не браня:
Любви тесна литых стихов броня,
И под напев не подогнать рыданье.

Так сказала устами Валентины Александровны Клара Андузская, поэтесса 13 столетия.

В этот блистательный рыцарский мир, исполненный высоких порывов и воинских подвигов во имя прекрасных дам, запертых в крепких замках на берегах Луары, и погружала без остатка нас, серых и сирых, профессор Дынник.

Наиболее известная ее переводческая работа — авторский корпус раздела «Трубадуры» в томе БВЛ «Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия

вагантов» (М., 1974). Сама Валентина Александровна считала эту работу поэтическим открытием целого пласта европейской поэзии.

Когда она впервые вошла в аудиторию, мы просто замерли, а у меня, вероятно, и челюсть даже отвалилась. Я таких женщин просто никогда не видал. Высокая, статная, невероятно женственная и привлекательная, даже несмотря на свои едва ли не 100 лет, блистающая острым умом, кокетничающая так естественно и по-старорежимному тонко, что создавалось впечатление, что все прочие знакомые мне девушки и женщины страны Советов суть просто-напросто деревянные куклы, состругганные провинциальным папой Карло где-нибудь в Тикси, на берегу моря Лаптевых, где в это время подвизался на северных заработках мой друг Шоня после окончания института в Полтаве. Как тут было не согласиться с Михаилом Пришвиным, который еще в далеком 1926 году записал в дневнике:

«Вчера приезжала Валентина Александровна Дынник («Дынница»), про нее ничего не скажешь: хорошенькая».

Когда я смотрел на нее, казалось, время не просто остановилось, а повернулось вспять, — и вот по Тверскому бульвару снова летят призрачные легкие пролетки, запряженные призрачными рысаками, желтеют огни фонарей, под которыми чинные бонны прогуливают детей в пелеринках, спешат в арбатские переулки в Поливановскую гимназию мальчики-гимназисты, и где-то среди их форменных серых тужурок затерялся до срока и Боря Бугаев, мой будущий любимый писатель Андрей Белый, и до катастрофы, до падения в бездну еще далеко, ну а пока — французская речь, французская литература, звон и мерность первых сонетов века Серебряного, и ведь еще вовсе не завершился век Золотой, и сердце не верит, что все это скоро, совсем скоро закончится... Таковой и была профессор Дынник, будто бы ступившая в нашу аудиторию из старинной картины в золоченной раме: что? А вы кто такие, милые господа? — царственная дама из прекрасного и далекого прошлого, чудом доплывшая в волнах всеобщего восхищения и преклонения до этих дней середины 70-х годов, до нас, собравшихся здесь, на Тверском, 25.

В 1979 году она преставилась к Господу. Чуть раньше в мир иной ушел и заведующий кафедрой русской литературы Семен Машинский — я помню, что мы чуть ли не всем курсом присутствовали на панихиде в ЦДЛ, и как остро я ощущал эту первую литинститутовскую утрату, которой я стал свидетелем.

Вообще, сотни невидимых нитей связывали нас, доверчивых пришельцев, настороженных чужаков и невегласов из бескрайних просторов Союза с тем, что вроде бы стало историей, заключенной в пухлые тома исследований и хроник или, напротив, сброшенной за ненадобностью в забвение. Здесь, на Тверском, окаменевшие реликты минувшей эпохи оживали, из марева становились едва ли не явью. Мало того, что на Тверском бульваре сохранился старинный дуб, посаженный еще при Екатерине II и видевший Пушкина, Наполеона с двунадесятью языками и прочих замечательных людей Золотого века России, мало того, что мы пять лет провели в доме, в котором родился Александр Герцен, разбуженный от летаргического сна декабристами для грядущих потрясений и слома государственного уклада, в доме, который послужил прообразом Дома Массолита в «Мастере и Маргарите» Булгакова, так и в крошечной квартирке, которую мне выделил для жилья завхоз Иона Васильевич, некогда постояльцем и таким же дворником, как нынче я, был один из великих писателей 20-го века Андрей Платонов. То, что все это прошло — только казалось, но длилось в метафизической памяти места, струилось в крови людей, которые приходили в мою жизнь без спроса и, может быть, даже по случаю, — и они, подобно профессору Дынник, животворили, овеществляли то, чего по видимости уже больше и не было.

Одним из подобных людей была наша преподавательница английского языка Нелли Александровна Иванова — веселенькая и приветливая к нам женщина, в седеньких буклях, с лукавыми глазками-пуговичками, безмерно добрая и снисходительная к нашему невежеству и неспособности ни к каким языкам, даже к русскому. И кто бы мог подумать, что в Нелли Александровне, носящей такую простенькую и привычную уху фамилию Иванова, не было и капли русской крови... Как-то мы разговорились с ней по душам, и оказалось, что Нелли Александровна — природная итальянка и в красную Москву попала вместе с родителями, итальянскими коммунистами в 20-х годах — они были членами коммунистического 3-го Интернационала, и в начале 30-х годов, когда Сталин разочаровался в идее мировой революции, для которой, собственно, и собирались в Москву иностранные подданные, родители Нелли Александровны были расстреляны. Нелли Александровне пришлось публично отречься от них как от преступников и иностранных шпионов, — кажется, она и ко времени своего рассказа не подвергала сомнению их виновность. Ее удочерила русская семья, дав ей и фамилию, и отчество. В Италии при всем том у нее оставалась довольно многочисленная родня, всячески зазывавшая Нелли Александровну на предмет возобновления отношений,

но... она опасалась ехать туда.

— Там мафия, там организованная преступность! — так она говорила нам на уроке английского языка.

Но все же родственники ее убедили приехать — в середине 1970-х годов при наличии вызова и родни уже могли и выпустить из Союза на несколько дней. Нелли Александровна около месяца провела в Риме, который вроде как и не особенно ее впечатлил. На улицу она выходила с опаской, прижимая к груди сумочку и опасаясь, что на нее нападут головорезы из «Коза ностры» и все это отнимут. И главное — краснокожую советскую «паспортину», и она не сможет вернуться на Родину.

Накануне по советскому телевидению показали сериал «Спрут» про эти итальянские страхи и ужасы...

Ведь Италия вовсе не почиталась ею родиной, но Родиной с большой буквы был, конечно, Советский Союз.

Больше она в Италию не ездила. Ей хватило и одного раза. А вот невестка ее, жена сына, вполне раскусила прелести заграничного бытия и ежегодно по «родственному обмену» навещала Аппенинский «сапог», привозя оттуда всяческий дефицит.

Еще одним человеком с загадочной судьбой был Виктор Антонович Богданов, который преподавал нам литературоведение. О нем никто ничего достоверно не знал — какие-то туманные слухи, что он за что-то вроде как политическое сидел в 1950-60-е годы, потом получил «запрет на профессию», но будучи при всем этом блистательным ученым-словесником, под чужим именем написал и издал учебник, по которому мы и осваивали премудрость литературоведения. Надо сказать, что ректор В.Ф. Пименов проявил редкое мужество, приняв его преподавать в Литинститут. Сам Богданов, крепко наученный в свое время жизнью, никогда ни о чем не распространялся — ни о себе, ни о текущей ситуации в государстве, — только загадочно-мудро улыбался. И совсем немного мне удалось сблизиться с ним за дружественной чаркой вина только в Малеевке, в доме творчества, куда нас, после окончания института, отправили на пару недель, дабы подрезать корни, пущенные некоторыми из нас в общаге на Добролюбова, 9/11. С Богдановым мы провели целый вечер в задушевном и глубоком разговоре, суть которого я, увы, запамятовал за давностью лет. Помню только о своем сожалении, что такой человек открылся для меня только под занавес моего пребывания на Тверском, 25.

Так что все — вполне было живо: благородная блистательность профессора Дынник; уникальность Азы Алибековны Тахо-Годи, а через нее — тень Алексея Федоровича Лосева, последнего философа из великой плеяды философов Серебряного века достигала нас, замиравших под мерный гекзаметр Гомера, когда Аза Алибековна вместо лекции просто читала нам по-древнегречески с листа «Илиаду»; трагичность детской судьбы Нелли Александровны Ивановой с ее вынужденным отречением от родителей, итальянских коммунистов; загадочность и непростая жизнь «вещи в себе» Богданова...

Ну, я бы мог еще долго рассказывать о замечательных наших преподавателях — о Евгении Николаевиче Лебедеве, специалисте по древнерусской литературе, Ломоносову и английскому поэту 18 века Александру Поупу, которого он переводил и творчеством которого занимался, о Владимире Ивановиче Гусеве, поразившем меня в самое сердце глубоким литературоведением — он читал нам курс «Теория стиха и прозы», и если со стихами, с размерами и всяческими «клаузулами» все было вполне понятно, то погружение в теорию прозы оказалось совершенно невероятным. Тут был по преимуществу задействован опыт и новаторские открытия 20-го века, неведомые нам с Сержем и Зойкой в Кобеляках, Андрея Белого, Алексея Ремизова, Андрея Платонова, Пильняка, Замятина... Ну и как тут не вспомнить мне Ивана Ивановича Карабутенко, открывшего для меня и давшего затем почитать «Крещеного китайца» Андрея Белого?.. Белый потряс все мое существо, совершенно перевернул мои убогие провинциальные представления о том, чем же по сути является литература и что такое «художественное письмо». Спустя какое-то время я написал большую курсовую работу по сравнительной звукописи трех романов Андрея Белого — «Серебряного голубя», 1909, «Петербурга», 1913 и «Крещеного китайца», 1921, проследив углубление, усложнение и преображение его новаторского творческого метода. Более того, после того как институт был закончен, я дерзнул даже попытаться поступить в аспирантуру, чтобы продолжить свои литературоведческие штудии по Андрею Белому, но потерпел в том неудачу. Можно сказать, от меня просто отмахнулись заведующие кафедрами русской и советской литературы: почему-то ни туда, ни сюда Андрея Белого не смогли приткнуть уважаемые М.П. Еремин и Всеволод Сурганов.

Еремин сказал мне, что Белый — советский писатель...

И разве он не был прав? Белый умер в 1934 году, успев даже поучаствовать в

организации Первого съезда советских писателей, который провозгласил новое господствующее направление в литературе — «социалистический реализм». Да и в 20-е годы он издал добрых два десятка книг в различных советских издательствах вроде «Никитинских субботников»...

А Сурганов, завкафедрой советской литературы, вытаращил глаза на меня:

— Ты что, Сероштан?!.. Символист, модернист, такой-рассякой, попутчик твой Белый! Ну и что, что был в оргкомитете Горьковского съезда 1934-го года, — спасал свою шкуру как мог!.. Напомнить тебе, что сказал о нем, прости Господи, Троцкий? «Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет»... Нет-нет, отправляйся-ка ты обратно к Еремину!..

Так я и попал между молотом и наковальней. Аня Герасимова диссертацию по поэтам-обэриутам тоже защитила не в родном институте, а в МГУ, хотя в аспирантуре училась у нас. Поэты ОБЭРИУ тоже не вписывались в советские схемы периодизации литературы. Ну это так, к слову.

Еремин, пушкинист, сменивший Машинского на кафедре русской литературы, всегда удивлял нас невероятным глубинным прочтением Пушкина. Но как-то раз Михаил Павлович просто убил, сказав буквально следующее:

— Упаси вас Бог стать личностью. Один стал, и потому гениальный роман 20 лет пролежал в письменном столе. Надо так: надо о целине — пожалуйста, надо о колхозе — пожалуйста, надо о пожарниках — нате. И все будет в порядке, а личность — опасна для государства...

Понятно, что сказанное следовало понимать ровно наоборот. А с формальной стороны — не подкопаешься ведь: Михаил Павлович призывал нас к «гибкости», «писать о колхозах» и о «пожарных»... Но задавалась реальная цель: созидать себя личностью, быть готовым к десятилетиям молчания и грядущим испытаниям.

Таковым и был наш Литературный институт — разным, ярким, драматическим и часто трагическим, исполненным разным интересным народом, великими преподавателями, вольнодумным, — и с этим общим духом вольнодумства не могли совладать ни комитет комсомола, ни коммунистическая ячейка — вот, кстати, я вовсе ничего не знаю о коммунистах в стенах Дома Герцена, — но ведь все-таки кто-то принимал в КПСС моих однокурсников Сашу Пудина и Сережу Васильева, — ни рассаженные по всем курсам (или подсаженные) секретные осведомители 5-го идеологического отдела КГБ СССР, которые, без всякого сомнения, наличествовали.

Мне скоро стало понятно, что о литературе я имею весьма приблизительные представления, даже несмотря на все наше пристальное чтение книг вместе с Сержем, — сказать по-простому: ничегошеньки-то я не знал, поэтому горделивая псевдоинтеллектуальная спесь слетела с меня на третий день моего пребывания на Тверском, 25.

А потом — Фолкнер и другие великаны 20-го века... А позже — Библиотека Имени — по меткому слову все того же Дибровы из Гарварда, прежде Румянцевская, выкрещенная после революционной победы в Ленинскую... Да вот природного имени все никак не вернут книгохранилищу этому. Там ты в спецхран даже проник, когда писал работу о Львовском церковном соборе 1946 года...

Да что говорить!.. Я был просто раздавлен Москвой и всем тем книжным, интеллектуальным, филологическим, литературным, что в ней было. Предо мной разверзлась неожиданно бездна мировой словесной культуры, бездна — до краев заваленная алмазами и самоцветами человечества, — а я кто такой? Чего я приперся сюда из своих Кобеляков? Это не в генделике с Сержем на берегу Ворсклы сидеть и цедить через губу, что *все*, мол, *gaga*... Ни хрена не *gaga*, а ты сам, Сероштан, просто слизняк какой-то! Ну вот что я здесь делаю?.. Что я способен сказать этому миру? Что — в него привнести? Ведь все-все написано, все сказано...

Может быть. Но все-таки — не прочитано, не усвоено, никакие выводы — ни мировоззренческие, ни вероучительные, ни эстетические — не сделаны. Человечеству, как ты себе его мыслишь, по большому счету наплевать на всех твоих Эсхилов и Фолкнеров.

Это точно. Вот попал я однажды на один из первых телемостов в Останкино Америка — СССР, Познер и Фил Донахью проводили его. Американец спросил у присутствующих: кто бы хотел США повидать и что посмотреть. Ну, несбыточные мечты, так сказать, озвучить. Начали кто во что горазд: Голливуд, Диснейленд, статую Свободы, конечно, а я возьми да и ляпни:

— Хотел бы попасть в город Оксфорд, штат Миссисипи...

Вижу, лощеный улыбчивый Донахью не понимает меня, да и Познер в сторону смотрит...

В чем же дело?

Да в том, что скажи у нас тогда, в СССР, *Ясная Поляна*, так сразу становится понятно, о ком тут идет разговор.

Сегодня, может быть, все уже по-другому...

Ну, я не стал позорить неведением телемагната-ведущего и сказал:
— Оксфорд — это городок, в котором прожил всю свою жизнь великий американский писатель Уильям Фолкнер. Нобелевский лауреат, между прочим.

Да если бы и не сказал этого ты, не удалось бы тебе Донахью с Познером посадить в лужу: просто вырезали бы этот эпизод, вот и все. Давайте, дорогие товарищи, про Мики-Мауса и Бродвей говорите... Вы же хотите достопримечательности Америки лицезреть?.. А кто такой Фолкнер? Забытый писатель... Да его и при жизни в Америке никто не знал. Европейцы открыли, прочли и были потрясены... Писали затем: американская критика проспала Фолкнера, не заметила... Так и с великим гитаристом Хендриксом произошло: в Великобритании его только расслушали и вознесли на должную высоту, но не дома...

Это к вопросу об общем интеллектуальном уровне я рассказываю. Конечно, за эти 35 лет много чего изменилось и у нас. И главное, на мой взгляд, — мы перестали быть «самой читающей страной в мире», чем так гордилось правительство и идеологи прошедшей поры.

Только гордились ли? Может, ты все-таки преувеличиваешь? Правительству на все было наплевать с высокой колокольни. Горбачев со товарищи и перестройку устроил с ускорением, чтобы легализировать свои капиталы, купить в Баварии или где там еще — замок и стать почетным немцем и цивилизованным европейцем с неизбывным «г» фрикативным.

Да и гласность — благо, конечно, что говорить, — широким жестом нам разрешил. Потом уже уяснилось, что эта гласность была чем-то подобным обглоданной кости, которой отвлекают собаку, прежде чем залезть в чужой дом. Интеллигенция схватилась за разрешенную гласность, тиражи толстых литературных журналов взлетели до невиданных цифр, миллионы и миллионы, учителя и инженеры кинулись читать Сашу Соколова, Солженицына и даже «Историю государства Российского» Карамзина в журнале «Москва», — тоже ведь не печатали советские дурачки вне всякой логики, — казалось, что вот-вот, немного еще, и щелка эта захлопнется, и снова будем читать навязшие в зубах поэмы о Ленине какого-нибудь нового Коротича и канонические своды — «Малую землю» с «Целиной», — так что надо успеть купить толстый журнал, и когда все закончится — а оно ведь несомненно закончится — тогда почитаем на сущем безрыбье... А тем временем пока врачи, инженеры и учителя тешились прежде запрещенными публикациями, ушлые комсомольцы, секретари обкомов и заведующие отделами со Старой площади наперегонки приватизировали заводы и нефтяные поля в Западной Сибири, рыбный флот, металлургические комбинаты: давайте, читайте пока «Это я, Эдичка», можем и покруче чего-нибудь подбросить вам, идиотам, вроде Генри Миллера или Чарльза Буковски со смачным описанием разных непотребностей, а там, смотришь, и свои ниспровергатели вроде Сорокина подрастут, только спите покрепче, дорогие товарищи, сейчас раздадим вам подтирочные приватизационные чеки, а потом будем вас называть по-другому: уважаемыми господами акционерами, — только условие главное и единственное — в наши делишки не лезьте... А кому суверенитета охота и независимости — так берите сколько его захотите, не жалко, все равно мои дети и внуки уедут жить в Лондон с честно заработанными мной за два года миллиардами, зря я, что ли, надрывался на партийных собраниях, конференциях и съездах в Кремле, глотку драл за народ, демократию и борьбу с привилегиями: Борис, ты все же прав! А кто считает иначе — того демократически расстреляем из танков, как в октябре 1993 года, мешают же, сцуки, проводить мне реформы! Да только спроси о реформах — в чем их суть — ответом будет невнятное пьяное блеяние: европейские ценности, за мир во всем мире и прочая лабуда...

А потом — все вдруг и закончилось. Послушали-послушали правители наши вернувшегося из вынужденной эмиграции Солженицына да и задвинули его в глухой угол... Обустраивай там Россию как хочешь, а нам не мешай...

Так и получилось: целили в коммунизм, а попали в Россию. Сказано поразительно точно. Спохватился народ, а все уже и поделено, прибрано к ручонкам блудливым. Эффективные собственники, на которых столько было надежд, что вот они уж, наученные американскими экономистами и советниками, сделают чудо такое, чего не могли красные директора-коммунисты, и будут друг с другом состязаться за покупателя, и, как в книжках, цены рухнут внезапно, там и мурло с покоцаной рожей выползло из

львовской крысиной норы: за 500 дней сделаю вам развитой капитализм, — только надо немного подождать и не мешать правительству делать «реформы», а меня — в президенты, конечно же... Смотрите «Маленькую Веру» и «Секс и перестройка» пока, читайте великого беллетриста Акунина, «Эдичку» снова перечитайте...

Тем временем перелетные птицы с Безбожного улетели жить-поживать в сказочную Америку...

Ну а что им здесь еще оставалось делать? Тиражи журналов лопнули, как мыльный пузырь, гонорары платить перестали, да и деньги все больше превращались в простую бумагу, дома творчества, где можно было жить буквально годами с четырехразовой от пуза кормежкой, по всей стране приватизировали чиновники из Литфонда. Все развалилось, как карточный домик. Странно, что с 1934 года все это соцреалистическое писательство худо-бедно существовало. А сам певец униженных и угнетенных, буревестник революции, над Неаполитанским заливом круживший до времени, не дрогнув и без всяких колебаний-сомнений принял от большевиков-победителей дворец Рябушинского на Малой Никитской. Заслужил. Забыл только переменить псевдоним свой нарочитый — из Горького в Сладкого.

Худо — в лагерях в Магадане, как Мандельштам и Шаламов, бедно — как Борис Шергин в подвале на Рождественском бульваре, или Андрей Белый, или даже как некоторые из вас, молодых, чаявших движения воды до бесславного краха социализма... Эти же, верные ленинцы с Безбожного и Астраханского, наследовали традициям, заложенным буревестником на 1-м съезде писателей, и жили нормально, сыто вполне. На заводах и фабриках не надо было работать. Вон даже у Пастернака не отняли в Переделкино дачу, когда травили за Нобелевскую премию и «Доктора Живаго» в 50-е годы... Что это значит?..

Оставалось совписам с Безбожного в 90-е годы сдавать внаем свои большие квартиры, полученные за верную службу партии Ленина-Сталина и переезжать в Переделкино на дачи Литфонда или же уезжать в США, сдав и квартиру, и дачу «новым русским», где, видишь, и медаль за «Коммунистов, вперед!», как тот же Межиров, можно было от Клинтона получить.

Итак, оставим эти желчь и злословие. Ты вышел на Курском вокзале...

Я вышел на Курском вокзале, преисполненный светлых надежд, лучезарных иллюзий и неизреченных ожиданий. Мне казалось, что самое тяжелое в жизни осталось позади: тяжелое детство с безотчетными метаниями между Сциллой и Харибдой убогого провинциального быта — как там про Бендера сказано было в «Двенадцати стульях»? — *«Голодное детство в Кременчуге»*? Жуткая нищета, в которой жили родители, радуясь только тому, что хотя бы нету войны; уход в армию, ненужный стране и исковеркавший мою жизнь тщанием особиста майора Сергеева; изнурительная работа на «Розочке» — все это было уже позади, и оттуда, из прошлого моего, я сохранял только главное — музыку. Даром небес стала Третья программа польского радио на коротких волнах. Но помимо музыки, так неожиданно ставшей доступной без пластинок и записей, я столкнулся совершенно, надо сказать, неожиданно с чем-то ранее неведомым и просто непредставимым. Может быть, это было самое первое открытие мое в Москве, даже не в городе как таковом, а именно в студенческом мире общаги на Добролюбова, 9/11. Комендант заселил меня в одну из 2-х комнат отдельного блока — я проскочил формально медицинскую комиссию в Кобеляках, а потом на флюорографии разглядели какое-то затемнение внутри у меня, но изолировать медики меня не успели, я уже уезжал и одной ногой стоял на подножке кременчугского поезда. Изолировали меня уже здесь, в этот двухкомнатный блок в крыле 9/11. Вторую комнату занимал латыш с 4-го курса по имени Юрис Чапиньш. Не успели мы с ним познакомиться, как Юрис коршуном налетел на меня с руганью и угрозами по совершенно неожиданному для меня поводу: я был осужден и приговорен к сущему уничтожению за то, что... оккупировал его милую Латвию.

Это при том, что ты до сих пор в Латвии так и не побывал, даже когда республика эта находилась в нерушимом Союзе, а уж теперь, когда она стала членом другого союза — объединенной Европы и надобна виза, чтобы в Ригу приехать, тем более тебе туда, Серошган, не попасть...

Я опешил и не знал, что Юрису возразить. Абсурд ситуации заключался еще в том, что этот разговор, или, вернее, истерика Юриса, даже затрудняюсь с наименованием, происходил в Москве, в столице империи, в Литинституте, в котором Юрис совершенно бесплатно получал высшее гуманитарное образование, да и принят был как национальный кадр, без прохождения творческого конкурса и практически без экзаменов. Мой добрый друг, однокурсник и хороший прозаик, один из немногих по-

настоящему состоявшихся, Эргали Гер, уроженец Литвы, не понаслышке знакомый с прибалтийским национализмом, в своем интереснейшем очерке «Белорусское зеркало», опубликованном в журнале «Знамя» несколько лет назад, удивительно точно подметил, чем все-таки был Советский Союз, удерживавший этот странный и разнородный конгломерат: *империей навыворот*. То есть, говоря другими словами, нормальные мировые империи, захватывая колонии по миру, качали оттуда рабов и ресурсы, обогащались за их счет, СССР же — напротив — свои так называемые *колонии* развивал и пестовал — в ущерб коренному народу: в аграрной Прибалтике строились современные морские порты, могучие заводы и фабрики, развивалась радио- и автомобильная промышленность, строились атомные станции и т.д. В Среднюю Азию, на хлопковые поля дехкан и вчерашних кочевников, едва не повернули могучие сибирские реки и повернули бы в конце концов, если бы Союз просуществовал еще несколько лет, про национальные литературы я уже говорил, при этом — русским (а в этот этнос я сознательно и с полной ответственностью включаю и украинцев с белорусами) доставались сущие крохи. До сих пор это заметно. Когда проезжаешь ухоженные села на территории Татарстана по пути в Вятку, все очень наглядно: села газифицированы, дороги отличные; как только пересекаешь административную границу с Кировской областью — от татарской идиллии остается одно воспоминание: газ никто и не подумал дальше тянуть — да и зачем русским газ: пусть топят печки дровами, как при проклятом царизме, деревни чернеют рухнувшими избами прямо на тракте, а что уж осталось там, вдали от дорог, невозможно даже представить, скудость, убожество, бедность... Конечно, есть искушение тут сказать, что татары трудолюбивы и предприимчивы, а вятские — нет. Но все ведь не так. Просто политика какая была у коммунистов — интернационализм, и она вполне воплотилась за все эти 70 с гаком лет в жизнь. Бей своих, чтобы чужие боялись: национальным меньшинствам — газ, орошение, заводы и технику, а своим в утешение цистерны с «солнцедаром», приправленным дустом для крепости, пустые прилавки и церковная присказка, что «претерпевший до конца спасен будет». Вы же — дорогие россияне — народ-империалист, вот и несите безропотно свой крест, как немцы несут наказание за Холокост, и не гавкайте со своей опереточной «Памятью».

И что тут можно сделать?

Да ничего. Только констатировать точность формулы Эргали Гера: империя навыворот. А теперь прибалты еще и финансовые претензии предъявляют России: Литва, ни много ни мало, — 864 миллиарда долларов, что-то похожее требуют и Латвия с Эстонией.

А как же?.. Может, придет еще ко власти какой-нибудь Иванушка-дурачок да и заплатит контрибуции этим гордым свободолюбивым ребятам. А что — все в нашем мире возможно. Разве могли мы предполагать, что колосс на глиняных ногах, СССР, рухнет, и на обломках его расцветут эти ядовитые цветы? «*Берите суверенитету сколько хотите!*» — ну-ну... Весь алгоритм тысячелетней русской истории строился на неукоснительном *собирании* земель. Сколько войн, сколько жертв, сколько национальных героев — и теперь какой-то временщик-»президент», вчерашний обкомовский дуболом, с бодуна после вчерашней пьянки все это готов просто спустить в унитаз... И — все молчат, даже аплодируют или одобрительно кивают многомудрыми головами...

Ну, так не напрасно 73 года коммунисты выкорчевывали здесь все, что только можно — культуру, религию, думающих людей, крепких хозяев. Тем, кто отправился в плавание в одну сторону в 1922-м году на «философском пароходе», еще сказочно повезло, другими философами и мыслителями просто мостили сибирские тракты и закладывали в фундаменты северных городов. Блистательному А.Ф. Лосеву, последнему представителю мыслителей мирового калибра из великой плеяды русского Серебряного века, не нашлось работы другой, как киркой долбать Беломорский канал за мнимые вины и прегрешения... А что тут такого? Не все Лосеву в кабинете сидеть и писать в тишине свои книги. Так и достигли успехов: создали новую общность — «советский народ». Лосевы не понадобились. «Аплодисменты, переходящие в овации...» Ты в начале 80-х несколько раз был в Литве...

О да, и получил незабываемые впечатления. Всего там было навалом, о чем помыслить даже москвичи не могли, не говорю уж о каком-нибудь голодном древнем Ростове Великом или таком же Великом Новгороде, которые созидали Великую Русь, а сегодня только в наименованиях сохранили свое былое величие. И колбасы многих сортов, и растворимый кофе, и бальзамы, и текстиль какой хочешь, как прибалтийский, так и импортный... Все — свободно, доступно, бери — не хочу. Вильно же сильно отличался от Ковно...

Давай уж по-нынешнему называй, без гордыни твоей...

Ладно: Вильнюс — от Каунаса. Сразу было заметно, что строились и обживались они разными этносами. Вильнюс — совершенно польский город, уменьшенная копия западноукраинского Львова, который тоже — в свою очередь — исторически был городом польским. Эти изящные костелы, изысканные старые здания, крепости и башни времен великого княжества Литовского... Каунас же, как мне показалось, более город литовский, в том только смысле, что до 18 столетия литовцами назывались сегодняшние белорусы, т.е. Каунас — город, построенный предками нынешних белорусов. Сегодняшние же литовцы, которых мы ошибочно так называем, суть балтийские племена: жемайтийские, аукштайтийские, дзукийские и сувалкийские — жили где-то в лесных дебрях. Они до сих пор гордятся тем, что по причине своей географической недоступности самыми последними из европейских народов приняли благодать Святого Крещения (скажу так напыщенно, как многолетний сторож московского Музея атеизма) — только в 14 столетии, до того же были язычниками-идолопоклонниками. Замечательный литовский писатель Ромуальдас Гранаускас, которого я очень люблю до сих пор, написал прекрасную повесть «Заклание тельца» о последнем языческом жемайтийском жреце. Эта книжка переведена на русский язык Вергилиюсом Чепайтисом и его сыном, моим институтским приятелем Томасом, о котором я еще расскажу. После краха Речи Посполитой и трех разделов Польши, в состав которой со времени Люблинской унии середины 16 века входило великое княжество Литовское, новокрещенная жмудь усвоила для себя наименование «литвы» да так и пребывает с этим именем до сих пор. Так вот, после того как Сталин преступно захватил буржуазное государство-лимитроф, сиречь Литву, он своими окровавленными руками бандита и палача подарил ей весь Виленский край, прежде принадлежавший Польше и населенный преимущественно поляками. В Википедии об этом написано так:

«В результате вторжения в сентябре 1939 года советских войск на территорию Польши Виленский край был занят советскими войсками. По «Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой» от 10 октября 1939 года часть Виленского края с городом Вильно была передана Литве. Эта часть составляла территорию в 6909 км с 490 тыс. жителей. После присоединения Литвы к СССР и образования Литовской ССР к новообразованной советской республике в октябре 1940 года дополнительно отошла территория Белоруссии площадью в 2 637 км », населенная, как ты понимаешь, совсем не литовцами. Ну и после окончания войны у германского Третьего рейха был на веки вечные отчужден балтийский порт Мемель и подарен Литовской советской республике, где незамедлительно переименован в Клайпеду.

Спасибо Сталину, разумеется, забыли сказать...

Бывшее государство-лимитроф увеличилось на 20%, а после войны жмудь, аукштайты и прочие племена вышли из лесов и устремились в свои замечательные Ковно и Вильну, куда прежде только на ярмарки ездили с птицей, мясом и овощами, переиначенные на свой лад в Каунас-Вильнюс. Тут свои коррективы внесла и война — многочисленное еврейское население Виленского края было частью уничтожено и частью бежало. Тут немцам весьма помогли и сами литовцы-крестьяне, без сожаления выдавая евреев на казнь. Об этой неприглядной стороне войны в Литве снят недавно нашумевший фильм «Последнее воскресенье августа», написаны исследования и т.д. Но эти печальные события не помешали нисколько после войны — ради декларируемого советского интернационализма — выдавливать тихой сапой из Виленского края и городов как евреев с поляками, так и белорусов, испокон века живших на этой земле. К весьма нежелательному этносу добавились и советские военнослужащие с семьями, прибывшие сюда в составе воинских подразделений, и технические специалисты, строившие здесь заводы, фабрики, модернизировавшие Клайпедский морской порт, возводившие электростанции, и т.д. Понятно, что дело не обошлось и без привычных советских зачисток буржуазного элемента — торговцев-предпринимателей, интеллигенции и писателей-журналистов, — к которому добавились и «лесные братья» — литовские партизаны, оказывавшие после войны вооруженное сопротивление сталинским «соколам» из истребительных батальонов. Конечно, литовцам новые пришельцы не нравились, как всегда не нравилась, к примеру, так называемая *лимита* москвичам, но это все же не мешало им получать образование в Москве и Ленинграде и делать успешные карьеры в метрополии — и на центральном телевидении, и в университетских центрах по всему необозримому СССР, да и, кстати, в Советской армии тоже. Литовские младшие командиры и офицеры славились особой жестокостью и неукоснительным следованием букве воинского устава в дисциплинарных батальонах и линейных частях, — этот буквализм, превращенный исполнительными служаками в сущий абсурд, был особенно страшен.

Может быть, и в такой извращенной, немыслимой форме литовские командиры мстили за «оккупацию» края, угнетая без разбору солдат других национальностей?.. Кто знает. Когда я впервые приехал в Вильнюс, то без труда заметил некоторые особенности, существовавшие там даже на бытовом уровне: в какие бы гости я ни приходил — к художникам, актерам Русского театра, музыкантам (напомню, что знаменитое джазовое трио Ганелина происходило из Вильнюса), все гостеприимцы мои — этнические русские, поляки или евреи — почему-то все, как сговорившись, жили на первых этажах современных домов. Этажами выше жили только литовцы. Не знаю, может быть, так мне особенно повезло, но думаю, что в таких вот мелких деталях можно было при определенном желании проследить нарочитую национальную (или, напротив, интернациональную) политику тамошних партийных и коммунальных властей. Примерно такое же, можно сказать, метафизическое ощущение не оставляло меня и в главном месте вильнюсской молодежной русскоязычной тусовки — возле памятника генералу Черняховскому, который освобождал Литву и благодаря которому Вильнюс не был разрушен, — генерал погиб здесь, не дожив и до 40 лет, — но сам памятник над его захоронением не пережил здешней буйной демократии и свободы: памятник уничтожили, сам же прах генерала перенесли на Новодевичье кладбище в Москву, — тогда же, на невеликой площади вокруг памятника, во всем чувствовалась некая ущербность, неструктурированность, что ли, какое-то глубокое внутреннее одиночество девушек и юношей, волею судьбы живущих в этом прекрасном, можно сказать, европейском городе, — они явственно ощущали себя чужаками на этом празднике жизни, при всем здешнем эстетическом, историческом и товарном изобилии. Подспудно, медленно и вместе с тем неуклонно им давалось понять то, что их здесь не хотят и просто до времени терпят, — при этом все знакомцы мои свободно владели литовским наречием, многие здесь попросту родились, кто-то из Ивана даже превращался в Йонаса и по-русски намеренно говорил с невероятным акцентом, — наверное, и за такие метаморфозы приходилось как-то душевно расплачиваться. Ну, а заговорив о душе, как тут не сказать о церковном устроении там: все-таки я спустя несколько лет долго сторожил Музей атеизма на Таганке в Москве. Понятно, что я не претендую ни на какую исчерпывающую и точную информацию — это мои вполне субъективные впечатления.

В Вильнюсе в те давние годы для верующих были открыты католические костелы, ну, это понятно вполне, — город-то польский, — в количестве 8, — разумеется, костелов было больше, но некоторые из них использовались как музеи, другие как картинные галереи и т.п., равное было и количество — 8 — и действующих православных церквей. И последних в городе было больше гораздо, конечно, — тут еще раз напомню про то, что Вильна был столицей великого княжества Литовского с 14 по 17 век и государственным языком княжества был церковно-славянский язык, главенствующим же вероисповеданием — православие. Костелы, в которых я побывал, ломились от народа — молодые женщины и мужчины, литовцы ли, поляки ли, никого не стесняясь, коленопреклоненно молились перед богато украшенными иконами, даже в Москве в храмах я такого молитвенного рвения не видал, очереди народа — и католиков, и православных — под Острой брамой, паломники, поднимающиеся на коленях по каменным ступеням крутой лестницы к надвратному большому киоту с дивной чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, прославившейся многими чудесами, — но вот русские же церкви стояли практически пустыми, и в них, кроме пары старушек, не было ни души, ну, кроме разве что Свято-Духова монастыря со святыми мощами древних виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, замученных язычником князем литовским Ольгердом в 14 столетии, в прочих же храмах витал некий дух запустения: они были открыты — заходи, но никто почему-то не заходил... Я вовсе не хочу обобщать, может быть, все обстояло и обстоит совсем по-другому. Но это — и так — я видел тогда, в 1981-82 годах.

Может быть, это было вроде какого-то внутреннего отчаяния и безнадежности — даже в храме русский человек не искал уже больше защиты, не просил у Бога милости и заступничества?..

В этом тоже можно было увидеть печальную закономерность той прошедшей советской поры и снова убедиться в правоте вильнюсского уроженца Эргали Гера: русскому этносу сломали хребет, лишили его живительных соков, груз имперского строительства — не грабежа и наживы, нет, но бесконечного и вполне бескорыстного строительства — от создания письменности до постройки гидроэлектростанций — оказался непомерно тяжел, не по силам, и русский народ попросту надорвался, к тому же пребывая на голодном пайке после великих свершений Октября 1917 года; это подобно тому, как подкопать корни дерева, — оно по видимости вроде бы остается на месте, но начинает сохнуть и засыхать и в конце концов умирает. Но, конечно же, не

литовцы были тому виной, нет, но весь исторический ход российского бытия после 1917 года. Да и раньше, конечно же, — 17-й год не с неба свалился на нас, — но это уже отдельная тема, и уроки русской истории до сих пор не осмыслены, просто — никак. После 1982 года я в Литву больше не приезжал, потому могу только теоретически представить, что там творилось в пору «Саюдиса» и обретения независимости, во время штурма Вильнюсского телецентра по приказу демократического Горбачева. Конечно, Горбачев позже утверждал, что приказа такого он не давал, да мы все знаем цену его болтовне. Кстати, за проявленный героизм во время этого памятного штурма моя знакомая девушка-полька, к которой, собственно, я и приезжал тогда в Вильнюс, работавшая к 1991 году диктором для литовской русской диаспоры, была награждена правительственным орденом.

И в чем же заключался ее героизм?

Она выпрыгнула с коллегой из окна первого этажа, — кажется, так. Не захотела сдаться советскому спецназу без боя. Вскоре эту программу для русских закрыли, и она потеряла работу.

Ну да. Тут все закономерно, увы.

Так что тогда, когда Юрис, мой сосед по общаге, набросился на меня по поводу оккупации его Латвии, мне нечего было ему возразить. То, что я теперь рассказал о Литве, я знаю сейчас, а тогда, в 1977 году, я даже не нашелся ответить ему что-то существенное, — припомнить, к примеру, знаменитых латышских стрелков, а Ленин ведь неоднократно говорил, что верит только этим ребятам, безжалостным и беспощадным расправщикам с серой, тупой, русской человеческой биомассой, и что революция имела успех только благодаря латышам...

И китайцам...

Чрезвычайная комиссия и не замедливший вовсе ГУЛАГ были наводнены поляками, латышами и евреями... Но Юрис, вероятно, об этом не знал. Да я и сам тогда ведь не знал. Кстати, о китайцах в гражданской войне: это они, оказывается, придумали прикалачивать гвоздями погоны к плечам пленных белогвардейцев. Тысячелетняя проекция своеобразной культуры мучительства и изощреннейших пыток. Старики в донских станицах помнят рассказы уцелевших в огне Гражданской войны отцов и дедов о неистовой жестокости «кули», которыми потом пугали непослушных детей. Нам же как мантру талдычили всюду — со страниц газет, с экранов ТВ, на политинформациях и политзанятиях в армии, — что русский народ наконец-то очнулся в 1917-м и сбросил долой гнет помещиков и капиталистов, получив взамен «лампочку Ильича» и трудовые победы в колхозах и на индустриальных стройках, а теперь вот только и понимаешь, что русский народ послужил просто разменной монетой или розжигом для мирового пожара, а революция мало того что была сделана на иностранные деньги, но и потом, во время Гражданской войны, подверглась массированной иностранной интервенции, но не той, опереточной интервенции, которой затем бравировали наши идеологически подкованные историки, когда рассказывали нам об Антанте, о высадке английских и канадских десантов в Архангельске и в Приморье — канадский десант, к примеру, насчитывал всего 1800 человек, они и не воевали совсем — стояли гарнизоном в пашкеевском Шкотове и наблюдали за обстановкой, вот и все их участие, а Троцкий даже призывал оказывать «всякое содействие» высаживающимся в Мурманске англичанам — по условиям Брестского мира, — зато вони — на целый век — как мы славно победили интервентов тех. Нет, иностранная интервенция в Россию была с другой стороны — со стороны большевиков. Современные историки уже подсчитали, что 300 тысяч иностранцев воевало против белогвардейцев — это и пресловутые латыши, предки нашего Юриса, и китайцы, и финны, и поляки, и «английские рабочие» у Махно, невесть как оказавшиеся в степях Украины под Гуляйполем, и военнопленные чехи, конечно же, с австрийцами, сломавшие становой хребет колчаковскому сопротивлению на Востоке — и все это при том, что на «белых» фронтах — от Архангельска до Крыма и Дальнего Востока воевало против большевиков одновременно — не более 150 тысяч человек. Русский народ безропотно и покорно рекрутировался как в белые, так и в красные части и использовался как пушечное мясо, увы... Какая там идеология... Разве что большевики узаконили грабежи, реквизиции и мародерство, пообещали землю и заводы, да только, конечно же, обманули. Большевикам нужно было время — благословенное время, когда произошедшие губительные процессы станут необратимыми.

И что стало с Юрисом?

У Юриса обнаружился туберкулез, почему он и жил в том отдельном 2-комнатном блоке, чтобы не заразить литературную студенческую молодежь. Кажется, вскоре

после окончания института и возвращения в оккупированную Латвию Юрис Чапиньш умер, так и не дождавшись, когда по улицам Риги, как истинные герои минувшей войны, будут маршировать ветераны латышских дивизий СС, а о ленинских латышских стрелках и гулаговских палачах, вроде Лациса, Берзиня и подобных, нынешние правители Латвии будут скромно умалчивать и делать вид, что ничего такого и не было. Все — придумано врагами независимости. Стоит сказать пару слов об официальной статистике. В сентябре 1918 года, по данным анкет, среди 372 сотрудников управленческого, следственного, оперативного, надзорного, канцелярского и административно-хозяйственного персонала ВЧК было 179 (48,1%) латышей, а среди руководящих работников ВЧК, чьи анкеты сохранились, латышей было 113 человек (50,4%), русских, украинцев и белорусов — 58 человек (25,9%), евреев — 27 человек (12,1%)... Так что Юрису нечем мне было ответить.

Самое интересное, что Европа вовсе не замечает на улицах Риги этих вечно живых, как Ленин, ветеранов СС, хотя в самом Евросоюзе пропаганда нацистских идей уголовно преследуется. Ну просто не видят в упор!

А что тут такого? Все хорошо, что направлено против России и русских. То же и на Украине сегодня: Степан Бандера — национальный герой, борец за свободу. Польша криком кричит: ваш герой, кроме прочего, устроил геноцид польского населения, знаменитую Волынскую резню, в которой погибло около 80-ти тысяч человек, по преимуществу стариков, женщин, детей, — кровь в жилах стынет, когда читаешь подробности этих показательных — для устрашения — казней, — но нет, Евросоюз не слышит ничего, заложило уши Евросоюзу, шоры на глазах, мямлят что-то там жалкое в своем Брюсселе, надуваются, как жабы на болоте, да только кроме как привечать однополые браки ни на что не способны. Вот порушили после «революции достоинства» 2014 года памятники Ленину по всей Украине — декоммунизация. Памятников не жалко, дело не в них, хотя именно Ленин дал Украине столько, сколько Бандера и во сне не видел: от всеобщей украинизации школы и в целом культурной жизни до пересмотра административных границ — так я совсем недавно узнал, что Донбасс, который я всю жизнь, по историческому неведению своему, считал Украиной, на деле — юго-западная часть Области Войска Донского, отданная Украинской советской республике в бессрочное и безраздельное пользование со всем населением только в 1920-23-м годах. Оттяпали окорок — и отдали.

А вот как-то и не писали о том ничего...

А кто будет писать? Себе дороже было о том даже помнить и знать, — писать... Ну тут понятно: донское казачество, как этнос и класс, подлежало тотальному уничтожению. Вот дословно чего требовал Ленин в своих телеграммах: *«Поголовное истребление казаков»* (официальная телеграмма к Фрунзе) и его же резолюция на письме Дзержинского от 19 декабря 1919 г. о содержащихся в плену около миллиона казаков: *"Расстрелять всех до одного"* — так что в легкую можно было отдать Донецкий угольный бассейн, жалко ли? Ну ты только представь себе это: расстрелять миллион человек ни за что ни про что, и все это — ради коммунистического блага и счастья народа...

Без учета уничтожения людей из других сословий... Такой вот вождь замечательный был у нас... Носили в октябрятах и в комсомольцах образ его на значках... До сих пор вон цветы к мавзолею тащит кто-то неведомый по коммунистическим праздникам.

А уж украинский коммунизм — это же просто бесконечная песня о Ленине. Более верных цепных псов режима, чем компартия Украины, не было в СССР. Недаром же с Украины произошли великие и незабываемые генеральные секретари ЦК КПСС Хрущев с Брежневым. Первый за верность ленинским принципам с барского плеча и Крым в 1954 году подарил нашей нэньке. А что тут такого? Союз же нерушимый, — потому и разницы нет никакой...

Кто бы подумал тогда, каким яблоком раздора станет Крым ныне...

В Москве уже вовсю громыхала идеологическим кровельным железом перестройка, орала на углах сумасшедшая гласность, возле газетных стендов на Пушкинской площади стояли толпы читателей, перепуганные издатели, оглядываясь на Лубянку, срочно верстали в типографиях «Архипелаг ГУЛАГ» и «Историю сталинских преступлений», километровая очередь в кинотеатр на «Покаяние» Абуладзе, и вот-вот все должно было уже по-настоящему измениться, должна была ворваться свобода, и вот тогда... А Владимир Диброва писал мне из Киева грустные письма: у нас — тишина, у нас — не происходит совсем ничего... Как же везет вам там, в Москве! Хотя — коммунистические начальники в Киеве уже давно получили отмашку от Горбачева: можно ослабить узду, но нет — коммунистические божки в вышиванках с чугунными

головами предусмотрительно, как всегда, опасались и выжидали у моря погоды, а вдруг — все это сон и неправда?.. Сколько раз они ошибались и уклонялись от основного партийного курса. Дождались только создания массового народного движения *РУХ ЗА ПЕРЕБУДОВУ* (*рух* — есть движение), от которого довольно быстро отсохло и за ненадобностью отпало продолжение наименования по поводу перебудовы, т.е. низы уже сами начали требовать от партийного руководства в конце концов перестроиться и начать хотя бы видимость перемен.

Напечатать хотя бы авангардистов 20-х годов — Миколу Хвилевого и других из той многочисленной плеяды писателей 20-30-х годов, названных без обиняков уже ныне «Расстрелянным возрождением», да и Василя Стуса, загубленного в лагерях, к ним подверстать, и других, и других без конца...

О, сюда подверстать много кого еще можно — друг и сотаинник Дибровы Сергей Бурда — о нем Диброва написал в 1995 году пронзительный роман «Бурдик», вышедший в Киеве в 2003-м, Виктор Савченко, Игорь Виногродский, поэтесса Марина Хлебникова — это на Украине, а здесь, в России, и счету нашему брату нет. Ведь и я в этих списках, хотя и остался пока еще жив... А уж как выпрыгивали из окон нашего 9/11 поэты с прозаиками, говорить даже не хочется, но о ранних уходах из жизни мне еще придется рассказывать.

Но все же вернемся обратно, к Третьей программе... А вообще ты обещал не углубляться в дебри истории, даже недавней, которая разжигает в тебе этот ненужный публицистический раж...

Да, ничего не исправить. Можно рассуждать тут о чем угодно, можно обижаться, или сетовать на неблагодарность отдельных людей или даже целых народов, или разбивать в метафизическом отчаянии лоб о бездушную стену, — ну и что? Стене — все равно. Это башке твоей больно, или душе, или исторической памяти, как ни назови. Но гигантские мельничные жернова социальной истории тупо и мерно перемалывают судьбы, жизни, совесть, события, перемешивают засаленные карты в колоде, — и что ты можешь поделать с тем, с чем не согласен, к примеру? Или переиначить даже вчерашний свой день? Ты, избравший вольно и без принуждения, куда тебе пойти, поехать, что прочесть, что послушать, что сделать, с кем разговаривать, — если все это уже случилось вчера?

Случилось?

Да, как ни странно — случилось, ибо и вчера ты не особенно что-то решал и, скорее всего, просто плыл по течению прошедшего дня, не особенно на что-то надеясь. Проснулся, позавтракал, почитал газету или новости в интернете, съездил на «Нонфикшен» на Крымский и до вечера бродил между миллионов новых книг, которые никогда уже не прочтешь, послушал нынешних редакторов и издателей, считающих Гарри Поттера «блистательной литературой», — ну а что? Такое время сейчас — успех соизмеряется с продажами. А тут и вечер уже подоспел, и надо возвращаться домой. Ужин, замечательный диск Laurie Anderson — «Bright Red», 1994 года, — вот, пожалуй, и все. И главное, важное — снова оставлено на потом, на завтра, на март или даже июнь. А может быть, навсегда. И снова вокруг тебя пустота, которую ты сам сотворил, или выбрал, или позволил ей себя затопить... Ведь что такое писательство настоящее — борьба с энтропией — вокруг — и, главное, в себе самом, т.е. претворение хаоса в упорядоченный космос. Вон даже нелюбимый мною Сорокин сказал важную вещь: *не писать — страшно*. Так что дело тут не в жажде денег и славы, но совершенно в другом — в мире с собою самим, в наведении порядка в собственной душе, в поисках сокровенных смыслов своего существования. И ведь всему этому не учили в Литинституте, не рассказывали на вторничных семинарах, да и в голову, вероятно, это не могло прийти нашим старшим товарищам, маститым писателям. Хотя что-то подобное, горькое, можно было расслышать в словах Михаила Чернолусского: как-то он нам, семинаристам-студентам, сказал о том, что написал и опубликовал 12 книг, — а что изменилось?..

Ну разве что получил гонорары. При Советах письменникам неплохо платили. И многие, если не все, писали просто за деньги, как тот же Вадик Бойко, — при всем к нему уважении, — и не парились этой твоей энтропией и прочей мурой. Композитор Владимир Мартынов назвал это естественное состояние «литературным промыслом». Весьма емко и точно...

Не изменилось. И не изменится. Но тогда, на излете 70-х годов, а тем более в начале их, еще в Кобеляках, все виделось и ощущалось иначе. Как взрослеющему сыну кажется, что он лучше и глубже родителей понимает устройство этого мира — ну, литературу, допустим, или музыку, — я о том говорю, не о потаенных глубинах личного

опыта жизни, — так и нам, с Сержем и Зойкой, мерещилось, что устроение мира — без нас, без наших писаний — недостаточно и ущербно. Хотя это, конечно, не так. Мир, в котором нам довелось жить, вполне самодостаточен, и если Серж с Зойкой довольно быстро поняли это и оставили надежды на некое метафизическое переустройство, что ли, его, то я подзадержался в своем духовном отрочестве.

Нашему семинару не повезло: чередовались руководители — набирал нас А.А. Крон, затем его сменяли поочередно Ф.Колунцев, Н.Евдокимов, М.Чернолусский, Г.Березко, а выпускал нас спустя пять лет Б.Анашенков, певец доменных печей, делатель конъюнктурных производственных романов, столь востребованных советским книгоиздательством на пике «эпохи застоя». Так вот, про творчество Евдокимова я прочел удивительное замечание Вольфганга Казака в «Лексиконе русской литературы XX века»: «Поиски человеком внутреннего оправдания жизни остаются основной темой Евдокимова». Говоря другими словами, и Николай Семенович наш по-своему пристально пытался осмыслить парадигмы этого мира. О нем я еще расскажу в связи с моим несостоявшимся отчислением из Литинститута по указке КГБ. В том, что меня все же оставили на Тверском, 25 и дали доучиться, Николай Семенович Евдокимов сыграл решающую роль.

Итак, ты вышел на Курском вокзале... Третья программа польского радио облегчила твое бесприютное существование здесь: ведь свою «Вегу» и пластинки ты оставил в Кобеляках...

Ожидания были, конечно же, сильные. Казалось, что кто-то ждал меня, кто-то нуждался во мне, кому-то меня не хватало. Но все это было, конечно же, иллюзией, самообманом. Вероятно, первой она, эта иллюзия, и почила, даже не дожив до нового 1978-го года. Особенно остро я почувствовал это в новогоднюю ночь, когда возвращался под утро из общаги 9/11, где провел время в хмурой и безрадостной пьянке в компании пятикурсников. Новогодняя и хмельная Москва на Пушкинской догуливала эту волшебную ночь, валил густой мокрый снег, звучал женский смех, кто-то пел, звенели гитарные струны и все вокруг — знакомые и незнакомые — поздравляли друг друга «*с новым счастьем*», но мне отчего-то не было весело. Может быть, такова специфика нашего института — ведь пишущий человек подобен волку-одиночке или медведю-шатуну — нормальные медведи мирно дрыхнут в зимних берлогах, а этот, с поврежденной психикой, что ли, бродит по заснеженным полям и лесам в поисках неизвестно чего, без цели, без смысла — так и мы, больные и хилые цветы затрапезных поселков и деревень, вынесенные неисповедимым потоком судьбы из глухомани степей, гор и тайги, с севера, юга, востока и запада безграничного СССР сюда, в метрополию, в этот громадный город, по обширности и народонаселению подобный европейской немалой стране, со смехотворными и жалкими планами и мечтами стать причастными великой русской литературе и что-то сугубо свое в нее привнести, — мы встречались друг с другом, вовсе не становясь никакими друзьями, встречались со своим горьким одиночеством, с тоскливым прозрением своей ненужности, — прозрение это рано или поздно все-таки наступало, и поистине счастливцами были те, сохранившие свою странную и неуместную девственность, свое неопасение, свою провинциальную романтичность. Иллюзии, грезы, мечтания, идеалы — все это без всякого наркоза вырывалось с корнем на первых же курсах, и если в первые месяцы пребывания в 9/11 бутылка с вином была необходима как повод для более близкого знакомства с новыми товарищами, то уже после вино для некоторых из нас становилось необходимостью, горьким лекарством или сном золотым, в котором человек спасался от этой ужасающей действительности, окружавшей робкую и трепетную душу бывшего сказочника, как Миша Шадрин из Арзамаса, или сурового водолаза из Тулы Саши Толмачева, отсидевшего в зоне за что-то, но Москву и искушение Тверским, 25 Саша все-таки не смог пережить — он застрелился из охотничьего ружья; или калмыка Кости Барванцикова, тонкого стилиста-рассказчика, сына элистинского генерала КГБ, который увез связанного по рукам и ногам Костю в служебной черной «Волге» назад в Элисту, — в серых предзимних глиноземных калмыцких степях Костя каким-то образом сбежал от дружественных гэбистов, и его долго ловили, как сайгака, где-то под Цаган-Аманом. Через несколько лет Костя снова появился в Москве. Он бросил окончательно пить, бросил писать, был при хороших деньгах, кто-то из моих однокурсников встретил его в фешенебельном ресторане — Костя угощал валютных «интуристовских» проституток изысканным коньяком, сам же при этом пил исключительно минеральную воду. Мишу же в совершенно жалком состоянии, проездом, я в последний раз видел в нашей многонаселенной коммунальной квартире на Трубной, 21: жена по имени Зухра везла его в Крым к какому-то сверхъестественному чудотворцу-целителю, и Миша из последних сил верил, что тот вырвет его из цепких лап алкоголизма. При этом у Миши в кармане была бутылка какого-то пойла — я, грешным делом, думал,

что бутылку он захватил к нашему предполагавшемуся дружескому застолью, но не успела моя Агнешка накрыть стол, как Миша уже в одиночку, прямо у меня на глазах, выжлуктил свое пойло и отрубился. К крымскому поезду на пару с Зухрой мы едва его дотащили. Что стало с ним, помог ли целитель, жив ли наш дивный сказочник, я не знаю. Как сейчас вижу его удивительно белокожее и красивое лицо, с легким румянцем, его умные, немного печальные серые глаза, слышу его негромкий голос, читающий что-то светлое, детское и прекрасное... Эти ребята — яркие, талантливые и во всем примечательные — уже до той приснопоминаемой новогодней ночи, которой начинался 1978 год, были исключены из института за несусветное запойное пьянство. Тверской бульвар, 25 избавлялся от тех, кто не мог с собой самим совладать.

Душа моя вполне была распахнута к этому новому миру в стенах Дома Герцена, я был провинциально доверчив, открыт и ничего не опасался, даже несмотря на августовский странный опыт в стенах Кобелякского КГБ, и душа интуитивно тянулась к некоторым моим однокурсникам, наиболее располагавшим к себе. Володя Малягин, драматург из Тюмени, Александр Вишневой, поэт из Крыма, потрясавший аудиторию густым дикторским басом и абсурдистскими афоризмами — до зачисления на Тверской, 25 он работал диктором на симферопольском радио, а также Игорь Жеглов, тоже поэт, сын высокопоставленного милицейского московского чина. Игорю было тогда всего 17 лет, но благодаря связям отца его стихи и роскошные цветные фотографии вовсю печатал иллюстрированный журнал «Смена». Его отец-генерал был выходцем из рязанских земель, и Игорь всегда подчеркивал эту свою нарочитую русскость. Но, увы, в сухом остатке никто не остался в друзьях у меня, и первым отдалился от меня Игорь. Причины непонятны. Как-то он не сдержался и похвалился:

— Знаешь, Сероштан, где я буду, когда достигну твоего возраста?

Я, конечно, не знал. Понятно, что я был уже стариком — мне недавно исполнилось целых 22 года. Но и вопрос Игоря мне показался все-таки странным — наши судьбы еще не свершились, ничего еще не произошло, мы даже не жили еще, и я всего три месяца как приехал учиться в Москву, — а Игорь — сын милицейского генерала, начальника Краснопресненского РОВД, и ему вовсе не понадобился обязательный для зачисления в институт двухлетний трудовой стаж... Как мы могли с ним мериться тем, чего еще не было даже близко, — нашим будущим, для меня совершенно туманным, для него же столь ясным?.. Я в ответ что-то невразумительное промычал. А затем и общение наше — ко второму семестру — как-то иссякло и прекратилось. Разве только здоровались до окончания института, а потом и вовсе даже не виделись, проживая свои разные судьбы. Хотя сегодня, после смерти Игоря в неполные 40 лет, уже можно сказать, что он, в отличие от некоторых наших однокашников, ставших миллионерами и настоящими «новыми русскими» не без помощи своих могущественных отцов (как Игорь Белоус, тоже уже умерший, к сожалению) и даже миллиардерами при непонятном и загадочном стечении обстоятельств (как Александр К. из Самары, ныне проживающий в Швейцарии), достиг не ахти каких успехов: он долгие годы был заведующим отделом поэзии крупного комсомольского издательства «Молодая гвардия», издал несколько своих сборников с неплохими стихами, но тем дело и кончилось. Может быть, тогда, в подростковой запальчивости 1978 года, ему и мерещилась какая-то его будущая феерическая судьба, я не знаю. Но вот так все получилось. В интернетовских безднах я прочел, увы, и о том, что и его жена Ольга Жеглова, тоже поэт, как и Игорь, несколько лет назад вместе с матерью погибла в автомобильной аварии...

Театровед Инна Люциановна Вишневская предостерегала в 1981 году поэтов с вашего курса: «Не предсказывайте себе в стихах ранней гибели! Сбудется!..» Как-то все это печально, Сероштан...

В ту новогоднюю ночь я шел к себе, в комнатушку на Тверском, 25, которую мне осенью выделил наш завхоз Иона Васильевич — с позволения проректора по хозчасти Данилова он нанял меня дворничать на Большой Бронной улице, прямо напротив цэковского дома, где жил главный идеолог СССР Михаил Суслов, и я с большим удовлетворением съехал от своего неуемного соседа-прибалта Юриса Чапиньша, — и эта ночь, исполненная бенгальскими огоньками, желтым светом фонарей, густыми и мягкими снежными хлопьями, запахом мандаринов и звонкими девичьими голосами — ко всему этому, кроме снега, который мне предстояло разгребать утром на Большой Бронной, я, по всей видимости, не имел никакого касательства, — и это острое чувство, пока я шел мимо комбината «Известий», пересекал улицу Горького, шел мимо кафе «Лира», спускался затем по Тверскому бульвару до наших ажурных чугунных ворот, холодное и чужое сжало мне сердце внезапно, и будто бы некий голос сказал: все это не твое, Сероштан, и ты никогда не станешь таким, как эти люди, веселящиеся на Тверском по случаю Нового 1978-го года, тебе никогда не отделаться от себя самого и того,

что в тебе, никогда — эта ночь стала неким рубежом, каким-то сломом сознания, хотя и пытался заглушить его то химерным вопрошанием *«та шо такое?»*, или вином, или бесконечными разговорами, спорами о литературе, или бессонным преферансным застольем, или горами читаемых к сессиям книг, где перемежались братья Гонкуры, Монтень, Андрей Белый и Василий Аксенов с только что напечатанной повестью «Поиски жанра», по которой я писал курсовую работу. Здесь я намеренно опускаю девичью тему и не касаюсь вовсе ее, хотя и там я искал, но не находил забытья или какого-либо оправдания своим тусклым и больным дням.

Глава 11. ВИШНЕВОЙ И ДРУГИЕ

Крымского поэта Александра Вишневого я почитал своим другом на протяжении всего 1-го курса, правда, причины моего расположения и доверия к нему за давностью лет уже доточно не восстановить. Помню только какое-то зыбкое вдохновение в душе, какой-то неизвестный мне раньше восторг во время единственной нашей совместной прогулки по центру Москвы, совершенно бесцельной — мы просто кружили по арбатским переулкам втроем — Саша был с женой Аллой Сафоновой из Тбилиси, и о чем-то мы без конца разговаривали. Саша был гением подобных прогулок, так же и гением устного слова, — жаль, что от этого практически ничего не остается, — и об этих дарах Вишневого неоднократно писала Лена Черникова в своих заметках о нем, наша молчаливая до поры однокурсница. На Лену он оказал — через всю жизнь — огромное влияние, и, конечно, не мне здесь живописать и воскрешать ту нашу единственную прогулку по равнодушному к искателям городу, столице империи. Спустя многие годы Лена несколько самонадеянно написала, что Вишневой был «лидером курса», но это, конечно, не так. Дискретность литературного сообщества, особенно студенческого, вовсе не предполагает каких-либо лидеров или вождей. Здесь каждый был сам за себя, а порой и с самим собой не находил что делать, о чем косвенным образом свидетельствуют ранние самовольные уходы из жизни некоторых из наших ребят. О лидерстве здесь нечего говорить. У Лены Черниковой, Наташи Соколовской и болгарки Ивы Николовой была своя девичья компания в 9/11, вот там и главенствовал, там и блистал Вишневой со своим многознанием, со своими неплохими стихами, шутками-прибаутками, анекдотами и историями, но речи о всем курсе, конечно же, нет. В общаге он неустанно переливался из комнаты в комнату, особенно был заточен на спонтанные и частые торжества по разным девическим поводам вроде дней рождений и прочего, которых всегда в длинных коридорах 9/11 было в избытке, восторженные девицы от всей души наливали чаю ему или вина и слушали даже, кажется, не то, о чем он вещал, а его густой, хорошо поставленный дикторский баритон, от звучания которого, как я предполагаю, у девиц в душе и в теле что-то там замирало. По признанию Лены Черниковой все они весьма сожалели, что Саша чуть ли не на первом семестре женился на полугрузинке Алле Сафоновой, но... все еще было исправимо у Лены и Саши. Их духовная связь продолжалась до самой смерти Вишневого в Крыму, и в каком-то смысле она продолжается и до сих пор: Лена стала душеприказчицей Александра, посмертно издала его единственную на сегодня книжку стихов и, будучи весьма активной литературной дамой, представляет его как забытого и неоцененного в должной мере поэта на разных литературных форумах в России и за рубежом. Влияние Александра на Лену трудно переоценить.

Вообще Лена, как верный друг на всю жизнь, производит весьма сильное впечатление.

Когда Вишневой по неизвестным причинам попал под раздачу на 4-м курсе и его едва не отчислили из института и не выкинули вместе с женой из общаги, именно Лена, применив все свои недюжинные организаторские способности, спасла его от такого афронта. Но судьба все равно была к Александру немилостива: в 1982-м году он не смог защитить диплом в числе еще 2-3-х человек, да я и сам, что греха таить, висел на волоске тщанием руководителя нашего семинара Анашенкова, остро чуявшего во мне антагониста ко всему, что в те времена нас окружало. Он счел, кажется, даже не читая, что название моей дипломной повести «Черновик...» рекомым черновиком и является и что негоже-де представлять на защиту диплома черновик... Предварительно, правда, завернул мою большую повесть, принятую «Юностью» и безуспешно ожидавшую в ту пору публикации на страницах журнала.

Ну, там уже были другие дела, и, думаю, запоздало, на самом излете твоем доброжелатели из 5-го отдела КГБ СССР пытались исправить руками исполнительного Анашенкова то, что было поручено в свое время Н.С. Евдокимову...

Или напоследок хотя бы немного подгадить. С Вишневым к тому времени я уже давно не общался, и о причинах того разговор еще будет. Но краем уха я слыхал о

том, что его не допустили к заключительному этапу по причине того, что он подал на защиту диплома... те же стихи, с которыми поступал пять лет назад, т.е. свою вступительную творческую работу. Не могу судить о том, так ли обстояло дело. Когда я через много лет сказал о том Черниковой, она решительно возразила на это, но все-таки никаких вменяемых аргументов не привела. Что-то вполне расплывчатое о том, что он был «неудобен» кому-то — то ли системе, то ли руководителю своего семинара Смирнову. Но под это можно подверстать что угодно ведь. Не защитившемуся в срок давалось еще три попытки. Саша уехал сперва в Тбилиси с женой, затем, жену потеряв, перебрался в свой Крым и каждое лето приезжал в Москву в попытках защитить диплом, в результате защитился с последней попытки и — совсем неожиданно — как литературный критик, на кафедре у Михаила Павловича Еремина.

Кажется, написал что-то о Пушкине...

Вообще это испытание с тремя попытками защиты диплома не таким уж безобидным было. Так, к примеру, дальневосточник Володя Пономарев, довольно мрачный парень, много куривший и, кажется, даже спавший в засаленном мятом костюме, обсыпанном перхотью, тоже диплома не защитил, хотя отнюдь не был обделен талантом. Во Владивосток лететь ему было далековато, и он остался в Москве в надежде, что к следующему лету напишет что-то достойное и получит диплом. Он зашел к нам на Грачевку и сообщил, что нашел замечательный вариант: по окончании дачного сезона подрядился жить в Подмосковье и охранять от разбойников чью-то богатую дачу. В те годы многие наши друзья так поступали. За свет и жилье платить было не надо, даже хозяева еще какую-то мелочь приплачивали неимущим жильцам-караульщикам. Казалось бы, для Володи это был идеальный вариант: сиди в зимних тишине и безмолвии и сочиняй повесть-роман до самого лета, никуда не спеша. Но так кажется только издалека. В чем мы с моей юной Агнешкой и убедились весной, когда Пономарев сдал свой зимний пост и снова навестил нас на Трубной. Володя стал вполне заметно другим человеком: прежде немногословный, замкнутый и даже мрачный он теперь не мог остановиться в словоизвержении, беспричинно хохотал, пытался нам рассказать о каких-то своих дачных страхованиях, о каких-то внутренних ужасах, посетивших его прошедшей зимой. Тревожное впечатление от него усугублялось и какой-то странной то ли паршей, то ли экземой, покрывавшей кожу его головы под волосами. Впечатление Володя произвел на нас угнетающее. Мы сами бедствовали и мыкались тогда по трущобам в сретенских переулках, сами едва выживали — чем могли мы помочь Володе? Разве что выслушать его и ужаснуться переменам, произошедшим с ним с осени. Я сегодня даже не могу вспомнить, удалось ли ему написать хоть что-то для защиты диплома. Скорей всего нет. Во Владивостоке у него ничего не было вовсе. До поступления в институт и переезда в Москву он работал промысловиком на рыбацком сейнере. Жил в общаге на берегу Тихого океана. Понятно, что за пять лет все то немногое, что он оставил во Владивостоке, исчезло без следа. Возвращаться ему просто некуда было. Мы расстались с ним с тяжелым сердцем и со смутными какими-то предчувствиями. Вскоре мы узнали, что Володя повесился.

Так что Вишневой оказался в весьма непростом положении. Но тогда, в пору нашего первого курса, в зиму 1977-78 годов, до этих страстей было еще далеко. Мы дружили, общались, читали друг друга, мне нравились стихи Александра, и вот какой парадокс — отдельные строчки я ведь до сих пор помню, даже несмотря на наш весьма болезненный и поучительный для меня разрыв:

Когда-нибудь, быть может, никогда
сумею написать стихотворенье...

И сегодня что-то меня привлекает в этих минималистских строках. Может быть, какая-то прошлая наша бесхитростная надежда на будущее: что-то мы сможем, сумеем... Но мы не знали тогда, как быстро проходит жизнь...

Вишневой категорически осудил мое трудоустройство в институтские дворники:

— Если ты будешь дворником, то и философия у тебя будет дворницкая, — таков был его непререкаемый вердикт.

Ну, на эту тему тебе есть что сказать и чем поделиться.

Но все-таки я запомнил это предостережение Вишневого на всю жизнь и, как мог, избегал этой категорически предреченной им «философии» — дворницкой ли, сторожевой, истопнической, а я последовательно прошел все эти ступени — может быть, это краткое его напутствие тоже сыграло в моей жизни какую-то роль, как и в жизни Лены Черниковой, его многолетней наперсницы и душеприказчицы. Кто знает?..

Ну да, твое люмпенство и неучастие в общественно-значимых проектах социалистического строительства страны тогда и оформлялось...

Но жизнь на Тверском, 25, работа под домом Михаила Суслова, которого я каждое утро созерцал в окружении нескольких дюжих охранников в коричневых кроличьих шапках и в серых потертых пальто, садящегося в черный бронированный лимузин, тоже имела свои несомненные плюсы. В чистке тротуаров и уборке газонов я естественным образом познакомился с работниками Краснопресненского ПЖРО, и, кроме мордвы и татар, прибывших в московский центр по лимиту обустраивать свое будущее и будущее потомков, там оказалось несколько удивительных людей, один из которых — Аркаша Суслов — сыграл в моей жизни решающую роль.

Так тебе и предопределено было между двух Сусловых жить на Тверском, 25 (Большой Бронной) и тогдашней улице Герцена, ныне снова Большой Никитской: утром — серый кардинал-идеолог ЦК, вечером — экзистенциальный философ, исповедующий постулаты Сёрена Кьеркегора не чем иным, как своей жизнью и лопатой для чистки московского снега...

Но прежде рассказа о моем друге Аркадии следует несколько слов рассказать о Миле Космачевской и нашем странном случайном-неслучайном знакомстве.

Мила приехала в Москву поступать на психологический факультет МГУ из молдавского городка Бендеры. По конкурсу не прошла и осталась в Москве дожидаться следующего года для поступления. Она была единственной дочерью в семье, а остаться в столице было возможно только при наличии прописки — постоянной или же временной. Каким-то образом она познакомилась с Аркашей — тот как раз угнездился «по лимиту» на улице Герцена и даже получил комнату там в коммунальной квартире. Вероятно, они заключили фиктивный брак, и он был весьма даже полезен обеим сторонам: Мила не только получила прописку, но и комнату в коммуналке Аркаша отдал ей в пользование до известной поры. Сам же нашел на своем участке, на улице Станиславского, прямо возле дома, где жил тогдашний градоначальник Москвы Промыслов, крохотную квартиренку, подобную моей на Тверском, 25, и угнездился там на несколько лет, пока Краснопресненское ПЖРО не заставило ее освободить, ввиду появления официального арендатора. Ну, и получил с Милы за такую двойную услугу несколько денег.

Для Милы деньги «на дело» не являлись большой проблемой. Она была единственной поздней и весьма любимой дочерью многолетнего каторжанина и сибирячки, на склоне жизни перебравшихся из Сибири в Молдавию. Понятно, никакого отказа талантливой дочурке не могло быть. Если надо — продадим сотню кроликов и десяток овец и передадим деньги с проводниками в Москву: только учись, дорогая и ненаглядная...

Ее отец, Иустин Космачевский, в юные годы носил другую фамилию — Космаческу и был подданным буржуазной Румынии. По профессии он был журналистом весьма левацких убеждений и взглядов. Ему невероятно нравилась Советская Россия, начинавшаяся за рекой Прут, в которой происходили некие глобальные и невиданные изменения и осуществлялся невероятный и непредставимый отсюда, из отсталой угрюмой Румынии, эксперимент по переустройству мира и человека. Однажды молодой и решительный Иустин сделал свой экзистенциальный выбор: поставив крест на своей успешной журналистской карьере, прыгнул в Прут, переплыл его на советскую сторону и с открытым сердцем и велией радостью сдался бдительным пограничникам:

— Товарищи! Я прибыл строить новую жизнь! Слава товарищу Сталину! Да здравствует коммунизм!

Иустину дали 25 лет лагерей и отправили далеко-далеко на Восток от Прута и от Советской Молдавии, в глубины Сибирской земли, где он и осуществлял свои неразумные юношеские благие порывы и намерения с кайлом и лопатой. К окончанию определенного ему срока наказания советский вождь и великий учитель жизни умер, а Иустин изжил собственные иллюзии, поэтому, выйдя из-за колючей проволоки, он решил вернуться если не в родную Румынию, то хотя бы туда, что напоминает ее — в Советскую Молдавию, к вину, к винограду, к мамалыге, к щедрой природе и ласковому солнцу. Из Сибири, помимо подорванного здоровья и кровавых мозолей, он привез и красавицу-сибирячку с пшеничной косой, которая жила в поселке по другую сторону лагерных ворот. У них, уже в молдавских Бендерах, и родилась наша милая Эмилия Иустиновна Космачевская, унаследовавшая от матери русые волосы, светлые голубые глаза, открытую прелестную улыбку и доброе сердце, а от отца тягу к наукам и рискованным эзотерическим знаниям, — наша муза 70-х годов, без которой в моей жизни не было бы ни Аркаши, ни даже Агнешки.

Я думаю иногда, из каких мелких случайностей сопрягается судьба человека, и

если умозрительно закрутить пеструю ленту былого обратно и выпустить хотя бы единственную мелкую и незначительную деталь, то будущее твое станет совершенно другим. На разработке этой идеи построен замечательный американский фильм «Назад в будущее».

Так ведь было и со мной.

Зимой 1977 года на заснеженной улице Горького я встретился нос к носу со своим армейским приятелем Васей Бебенчукасом. При всем этом — уже полтора года как я должен был жить в Кобеляках или где-то там на Украине, Вася же — в Новосибирске... А тут — Москва, улица Горького возле Музея революции, и Вася при этом идет устраиваться осветителем в театр Станиславского...

— !!!

— ???

Васин отец, офицер, после ухода в запас, изъявил желание вернуться в Москву, откуда вечность назад отправился на службу в Вооруженные силы. Так Вася и оказался вместо родного и ожидаемого Новосибирска в Москве. Устройство осветителем мы до поры отложили, отправились ко мне на Тверской и на радостях без устали пили вино до позднего вечера, разговаривая о былом и о настоящем, терзая гитару «Поручиком Голицыным» и «Воротишься на родину...» и не уставая поражаться этому странному изгибу нашей судьбы. Около полуночи я отправился провожать Васю к метро «Пушкинская» и обратно уже возвращался по Тверскому бульвару, среди темных липовых аллей, подсвеченных фонарями. Пространство бульвара было по ночному пустынно. Изредка проносились «такси с больными седоками, // и мертвецы стоят в обнимку // с особняками». Я был не столько хмельным, сколько как-то по-особенному настроенным в этот совершенно невероятный по происшествиям и по впечатлениям вечер.

Бывают такие вот «узловые» дни, самые главные в жизни. Кто мог представить тогда, во что и как все это выльется — эта случайная встреча с Бебенчукасом и то, что случилось сразу за этим?..

Я уже почти дошел до перехода через проезжую часть к Литинституту, как неожиданно под ноги ко мне бросился черный лохматый пес и принялся прыгать мне на грудь, явно призывая к игре.

— Юс! Юс! — закричала прогуливавшая его девушка. — Ко мне, Юс!

Это и была Мила. Надо все-таки отдать должное ее тогдашней отваге: ночной бульвар, какой-то пьяный хмырь бредет по Тверскому — мало ли что?.. Но ей, как и многим из нас в ту пору нашей юности, было присуще это вот «неопасенье», по слову Боратынского, и это «неопасенье» дорогого стоило, и из этого всего слагалась судьба, наше будущее.

Мы познакомились, погуляли вместе немного, я провел их с Юсом по бульвару до Никитских ворот и отправился в свою квартиренку на Тверском, 25. Договорились, что встретимся завтра же вечером на бульваре, где она снова будет прогуливать Юса. На следующий вечер я уже был совершенно трезв и без устали в бесконечном разговоре разворачивал перед Милой свои самопальные теории бытия, занимавшие меня той порой. Через несколько дней Мила пригласила меня в гости на улицу Герцена, в коммуналку, и там уже оказалась целая толпа людей, многие из которых стали на всю жизнь моими друзьями — в большой комнате, совершенно пустой, кроме Милы, жили еще Тамара Пастернак и Лика Харитонова, схожие с Милой по московской судьбе: приехали поступать в институты и не поступили. Как часто бывает в подобном сообществе, даже несмотря на всю нашу общую неприкаянность, там царило веселье, шутки и смех, столь разительное отличие от общего бытия моих однокашников в общаге на Добролюбова. Может быть, тому виной была разнородность сообщества на улице Герцена: там было много актеров и режиссеров обоего пола из близкого ГИТИСа, музыкантов, одна девушка даже училась в Консерватории на композиторском отделении, вскоре прибыла из Вильнюса целая группа литовцев во главе с Томасом Чепайтисом, — на следующее лето он собирался поступать в наш институт. В компании Томаса была и весьма интересная девушка Юрате, ставшая вскоре актрисой и близкой подругой Милы. Там же вскоре появился зашедший на огонек со Станиславского Аркадий Суслов, ставший едва ли не главным человеком в моей жизни. Вскоре я стал частым гостем не только на Герцена, но и на Станиславского, и там уже развернулась интеллектуальная жизнь во всей полноте: Олег Давыдов, Мунамун, Володя Шикин, Володя Мартышин, Николай Васильевич Гоголь (да-да, именно так — однокурсник Аркаши и Шикина, он, кажется, до самых последних советских времен работал в газете «Труд». Ну чем не литературоцентричной была Москва той поры?.. Даже вот в таком — совершенно буквальном — смысле?). Мужская, скажем так, литературная компания — все ведь либо писали что-то свое, либо собирались писать — со Станиславского

отправлялась на Герцена мимо храма Воскресения словущего, мимо дома актеров Большого театра, — однажды нам встретился по пути Муслим Магомаев, который жил рядом с домом Промыслова, — мы с ним почтительно поздоровались, хотя и не разделяли его музыкальных пристрастий и певческих достижений, надо сказать. И уже на Герцена начиналось настоящее веселье с отправкой гонцов в Пляттовский дом за вином, и все такое прочее. Как ни странно, но как сказала одна дамочка по тогдашнему телевидению, что «в СССР секса нет», это буквально воплощалось в нашей компании: ничего подобного между нами не было, ничего двусмысленного, кроме Аркашиных шуточек по поводу невинности Милы, от которых она пунцовела. Может быть, кто-то и был влюблен в наших девушек, может, и девушки кого-то из нас выделяли особо, но это совсем не было важным, — влюбленность, пожалуйста, носи в душе и храни, — но суть наших отношений как раз и заключалась в дружбе и физическом непосягательстве на друзей противоположного, так сказать, пола.

Правда, однажды ко мне на Тверской заявилась Лика и попросилась переночевать: что-то там на Герцена было у них непонятное. Бога ради, Лика! — так сказал я, и мы до глубокой ночи проговорили с ней, как ни странно, о сути любви, с привлечением знаменитых слов апостола Павла, с моим въедливым разбором отличий понятия и понимания любви в мужчине и женщине, и уснули под утро на разных диванах. Через несколько дней, явившись на Герцена, я заметил странные ухмылки на лицах Милы и Тамары. Время спустя я понял, что девицы заключили между собой некое пари по поводу меня, и Лика, попросившись переночевать, пришла на самом деле меня соблазнять.

Коварство женщин не знает границ, Сероштан!.. Но тебя сохраняла до времени некоторая твоя тупость, — ну что тут поделаешь? Кобеляки не вытравить из тебя никогда...

В начале 80-х годов Лика вышла замуж за иностранца и отбыла на жительство в Голландию. Однажды она навестила нас с Агнешкой на Трубной, пьяная в хлам, и кричала во дворе, как любит меня. Я же счастливо отсутствовал — заседал с Васей Бебенчукасом и коньяком в «Мутном глазе» на Сретенке и узнал о ее визите со слов Агнешки, напуганной хмельной Ликой, — ведь юная Агнешка появилась на Герцена в ту пору, когда там никого уже из нашей компании не осталось. Тамара — стала женой темнокожего африканца и уехала на остров Мадагаскар. А на Миле женился гитарист Юра Калинин, затем они расстались, и сейчас она замужем за режиссером документального кино. В отличие от Аркаши с его так и не состоявшейся защитой диплома, Мила все-таки в середине 80-х годов поступила на факультет психологии, но не МГУ, как блазнилось из Бендер, а областного педагогического института, и несколько раз навещала нас с Агнешкой на Трубной. Благое дело, что одна из кафедр ее института находилась на Малом Сухаревском переулке, прямо-таки перед аркой нашей памятной 10-комнатной квартиры. Но Агнешка по складу характера оказалась девушкой весьма ревнивой, и Мила это чувствовала, — да и потом — все эти женские дела: мы с Милой были старыми и добрыми друзьями, прожившими целую жизнь в центре Москвы, пока Агнешка в далеком Владивостоке прежде училась в 5-м классе, а потом заканчивала среднюю школу. Мила же, кроме всего прочего, когда я попал по болезни в беду, искала по всей Москве для меня редкостные лекарства, читала мои первые литературные опусы и почти что заместила собой Зойку Скаженник, уже уехавшую с Борей Горобцом покорять нефтегазовый Север. Но нынче я уже полностью принадлежал Агнешке, и у нас родилось уже двое детей, — какая там могла быть Мила с ее Кришнамурти и эзотерическими психологическими забавами?..

Время, бездушное, холодное, но с признаками Божьего промысла, неумолимо отдаляло всех нас друг от друга, разводило в разные стороны. И сегодня я ничего не знаю о Миле Космачевской, тем более ничего не знаю о Лике и о Тамаре.

Каждый проживает свою жизнь в одиночестве, даже если с ним рядом и находятся его близкие — жены, дети, родители и «от нечего делать друзья», по слову поэта. Есть ли в этом некая скорбь или печаль — я не знаю. Но есть некая высокая справедливость, законченность: люди приходят в твою жизнь для того, чтобы ты понял себя, осознал свое место в этом вот мире, и уходят они от тебя — по той же причине.

Уже на излете эпохи, когда Аркашу вытурили с улицы Станиславского и мы на ДЭЗовских грузовых тачках перевезли его книги и рукописи оттуда по месту формальной прописки, на Герцена, Лика с Тамарой улетели в свои брачные эмпиреи — тем для них закончился опыт с покорением Москвы, — Мила с Юрой съехали куда-то на окраину Москвы, в опустевшем пространстве Аркашиной комнаты вроде как бы случайно и появилась Агнешка, сестра Даши, недолгой жены тихого алкоголика Женечки. А с ней — и моя будущая жизнь и судьба.

А если бы тогда, зимой 1977 года, я не встретил бы Васю Бебенчукаса на улице

Горького, если бы мы с ним не напились вина и я не отправился бы провожать его до метро, а потом — если бы Мила, прогуливавшая Юса среди старых лип Тверского бульвара, просто отшила бы меня, пьяного дурака, и отказалась бы со мной познакомиться, — не было бы Аркадия с тем жизненным примером, который он мне преподал, не было бы его разумного совета, как мне поступать с прилипчивыми «вальками» из гостиницы «Минск», не было бы и Агнешки, с которой мы прожили и живем худо-бедно вот уже 35 лет, — не было бы ничего, что я сегодня могу назвать своей жизнью.

И от какой безделицы, от какой мелкой случайности все это будущее зависело?..

Аркаша открыл для меня целый мир подпольной Москвы, исполненный молодым и веселым народом, по преимуществу пришлым, как он и как я, находящимся временно — а может быть, и навсегда — не у дел — кто-то приехал из Уфы поступать в театральное училище, не поступил и застрял в переулках возле Консерватории, кто-то — закончил институт, но не нашел работы и временно трудоустроился в газовую котельную на Малой Сухаревской площади, другие же, выпускники факультета журналистики Московского университета, хлебнувшие варева изолгавшейся пропаганды в московских газетах и в ТАСС и не смогшие существовать в этом зловонном чаду, просто уходили в подполье, в отрицание, в «нетовщину», следуя завету вермонтского отшельника Солженицына «жить не по лжи». Кто-то забрасывал на антресоли дворницкой страшненькой коммуналки пахнущий типографской краской диплом биолога-химика-авиаконструктора и начинал сочинять музыку, совсем не надеясь пробиться сквозь железобетонную стену, составленную из нерушимых, как Советский Союз, серых блоков Кобзон-»Пламя»-Кристалинская-Пугачева-и-Хиль, некие еврейские юноши организовывали маленькие экспериментальные театры и даже ухитрялись арендовать какие-то подвалы на Арбате и показывать довольно невразумительные спектакли таким же, как и они, неприкаянным и бесприютным молодым людям неопределенного генеза. По далеким от московского центра клубам выступали с авангардной и неслыханной прежде музыкой такие удивительные композиторы, как Эдуард Артемьев, Владимир Мартынов, Софья Губайдулина и другие. Рядом с нами, в Кинотеатре повторного фильма на Никитской площади, шли ретроспективы Феллини, Антониони, Бертолуччи, Бергмана, Вайды. На «Сталкера» мы ходили с Аркашей раз десять в тщетных попытках истолковать и понять символы и скрытые подтексты-метафоры фильма, а вот с «Соляриса» я ушел сразу после начала и до сих пор так и не осилил его. Не понял я и Феллини, за что был подвергнут насмешкам и остракизму нашей интеллектуально-эзотерической компании с улицы Герцена во главе с Милой Космачевской:

— Это же — Феллини!!! — таков был ее основной аргумент в нашем споре.

Ну а куда тут денешься с неистребимой кобелякской закваской?.. О каком Феллини тут разговаривать?..

Аркаша Суслов, выпускник журфака МГУ, тоже не смог защитить диплома и устроиться по специальности. Вероятно, в МГУ тоже давался таким вот неудачникам какой-то временной люфт, как и у нас, на Тверском, 25, — по крайней мере Аркаша многие годы говорил, что вот-вот напишет грандиозную работу по творчеству Василя Быкова, о его экзистенциальной составляющей, ставящей героев писателя перед необходимостью выбора в исключительных военных условиях — но дальше разговоров дело у Аркаши не пошло. Эта жизнь в ожидании следующего лета защиты диплома засасывала, как трясина, расслабляла и разлагала изнутри человека. И ничья любовь, и никакая дружба бывших сокурсников не могли спасти Аркашу от себя самого. В ход шло проверенное лекарство — вино и табак, что было просто весьма при тех многолюдных собраниях в громадной Аркашиной коммуналке возле Консерватории: один посетитель уходил, его сменял новый, затем другой, и еще, и еще — до самой ночи. Музыка, разговоры и выпивка, завершавшаяся пьяными выкриками: «или-или» — вот и все, что оставалось в сухом остатке от Кьеркегора. Аркаша не преодолел этого психологического и даже социального барьера.

Вишневой же, попав в сходное положение, все-таки защитил свой многострадальный диплом, оказавшийся для него неожиданно совсем бесполезным. Впрочем, и мне тоже не сгодился диплом ни на что. Я хотел было сказать «многим из нас», но остановился: а что я знаю о наших «многих других»? Что я знаю об их жизни после окончания института? Практически ничего.

Потому и не расписывайся, Сероштан, за других. Кое-кто сделал даже неплохую карьеру — в издательствах, пока они не померли, задрав лапки кверху, или в каком-нибудь журнале «Пограничник», кто-то написал 20 детективных романов с такими вот замечательными названиями, как «Зомби на прогулке», «Младенец на экспорт», «Кровавый передел», «Стерва», «Порнограф», etc. Не суди по себе.

Наверное, и такая литература нужна.

По преимуществу — именно такая и нужна. Вас же отравили эстетикой все ваши знаменитые Карабутенки, Смирновы и Лебедевы с Еремиными. «Поиски истины», «писатель — это стиль», «жить не по лжи», «не продаваться ни за какие коврижки»...

И вместе с тем в тех же старых облупленных стенах дома Герцена сосуществовали бок о бок с уважаемыми эстетами и любимыми знатоками матерые и циничные «производственники», «ленинцы», молодые провинциальные карьеристы из национальных республик, записные комсомольцы из институтского комитета ВЛКСМ вроде М. и Е., у которых на лбах разве что не были вытатуированы красные звезды.

Интересно, как сложились их судьбы, этих вот Сергея М. и, кажется, Олега Е.?

Да кому нужны эти ребята и кто их помнит? Прикомандировала контора на пять лет к нам на Тверской этих хмырей, а потом отправили на другое задание. Кажется, их даже все стороной обходили.

Должно быть, не все. Кто-то там к ним на ВЛК, где комитет комсомола располагался, захаживал за преференциями будущими.

Да тут тема впереди еще необозримая — о кромешной продажности наших старших товарищей, так называемых «мастеров». Занимался я тут на досуге изысканиями в Ярославском архиве по истории одного из несуществующих церковных приходов и обнаружил: деревня Новая Ошаниных, село Красное Ошаниных и т.п. — такие вот странные наименования «ошанинские». Лев Ошанин одним из наших наставников был в Литинституте, у поэтов. Копнул немного еще архивное я и вот что узнал: род Ошаниных — знатный, дворянский, с 14 века в Московской Руси, ведущий свое происхождение по родословным «скаскам», от некоего Стени (Стефано или Стефан), выехавшего из «Веницейской земли» в Москву и принявшего при крещении около середины 14-го века имя Федора (или Федота). Его потомок в 5-м колене Даниил (Данило) Ильич Грязный имел прозвище Ошаня, вот он и стал родоначальником Ошаниных.

А потомок, хороший, между прочим, песенник и поэт, прославился не тем даже, что в 1950-м году получил Сталинскую премию, а этими вот бессмертными словами из песни, которую с детских лет нас заставляли учить и распевать у Фрумкина на форпосте в Кобеляках:

«Ленин всегда живой, // Ленин всегда с тобой // В горе, в надежде и радости. // Ленин в твоей весне, // В каждом счастливом дне, // Ленин в тебе и во мне! // В давний час, в суровой мгле, // На заре Советской власти, // Он сказал, что на земле // Мы построим людям счастье. // Ленин всегда живой, // Ленин всегда с тобой // В горе, в надежде и радости. // Ленин в твоей весне, // В каждом счастливом дне, // Ленин в тебе и во мне! // Мы за Партией идем, // Славя Родину делами, // И на всем пути большом // В каждом деле Ленин с нами. // Ленин всегда живой, // Ленин всегда с тобой // В горе, в надежде и радости. // Ленин в твоей весне, // В каждом счастливом дне, // Ленин...»

Меня сейчас вырвет, замолчи ради Бога! Тут же можно продолжать бесконечно — все эти дяди Степы, — тоже, между прочим, столбовые дворяне, и нет числа таковым... Мы тут сетуем ныне, что за 70 лет Советской власти генетически изменился русский человек, что выбили лучших, а из оставшихся сделали недоумков каких-то, скалящих зубы и радующихся невесть чему на концертах какого-нибудь Петросяна, — но прежде перековались вот эти, дворяне, — одни пошли воевать за большевиков и расстреливать просто для удовольствия, другие, как эти вот борзописцы, более роковую роль сыграли в минувшем веке кровавом: отравили народную душу пагубной ложью. Как один из них, этих горе-дворян, обнажил свои метафизические корни на суде над Синявским и Даниэлем (безотносительно к самим фигурантам я это рассказываю): *«Слава Богу, что у нас есть КГБ!»* Вот и все.

Добавить здесь нечего.

Так и жили мы в Доме Герцена — с одной стороны видимость какой-то свободы — недоступные книги, изданные в 20-е годы, поток общеобразовательной и необходимой как эстетической, так и мировоззренческой информации, а потом — с подачи Аркаши Суслова и других людей из подполья — эмигрантская литература во главе с Набоковым, и новейшая вроде Юрия Милославского с замечательным сборником «От шума всадников и стрелков», подпольная до поры вроде поэзии Бродского и Гумилева, а с другой — эти вот улыбчивые и веселые мастодонты, певцы нескончаемой «ленинианы», учителя запредельного цинизма и кромешной безответственности перед страной, перед будущими поколениями, перед Богом в конце концов... Вообще тот розовый флер по поводу литературной и артистической жизни Москвы, привезенный

мною из Кобеляков, быстро рассеялся. Наряду с острым ощущением своей ненужности никому здесь и всего того, что ты только собирался еще сделать и написать здесь, в Вавилоне, прагматичность, продажность совписов тяжким, зловонным духом просто шибала в нос и в глаза. Я еще мог понять это наше, глухо-провинциальное, когда Гене Черевику Фрумкин, редактор «Коммуниста Кобеляков», сказал прямо в лоб, чтобы тот писал к красным дням вирши о партии и о Ленине, что Гена послушно и делал, получая от Сократа Ивановича щедрый гонорар в 3 рубля и зыбкую славу местного дурачка-стихотворца, но здесь, в Москве, все ведь должно было складываться по-другому — так мнилось мне. И складывалось. Но только не здесь, на Тверском, 25, не в легальном редакционно-издательском пространстве толстых журналов и столичных маститых книжных издательств, — но в дворницких, в котельных, в сторожках немногих открытых церквей, на ночных постах по охране где-нибудь в ВААПе и в «Союзспецлегкоконструкции», в просторных фойе «Моспроекта-3», передававшегося из поколения в поколение — от молодых писателей Литинститута молодым хиппарям из историко-архивного института, от них — молодым живописцам из Строгановки, — затрудняюсь даже сказать, остался ли до сей поры тот славный пост в «Моспроекте», на котором в мою бытность и служение там происходили бесчисленные интеллектуальные сшибки с воцерковляющимися журналистами, потрясающими ксерокопированным «Отечником» и «Лествицей», и новоиспеченными эзотериками, ответно трясущими машинописью Гурджиева, Блаватской и Рерихов, — это и территориально было очень удобно: рядом с гостиницей «Пекин», на площади Маяковского, — самый центр, — места полно, дармовые чай и растворимый индийский кофе из жестяных банок, одолженные для угощения всех препирающихся в поисках истины из запертых на ночь кабинетов архитекторов и проектировщиков новой Москвы, — и вся ночь, и все многоэтажное здание безраздельно принадлежит тебе, принимающим толпы и толпы друзей. И разговоры обо всем на свете и прежде всего — об искусстве, о философии, о литературе, находящихся под спудом, в запрете или в безвестности. Вот это, неформальное и свободное от идеологических и образовательных пут во главе с «историей КПСС» и «научным коммунизмом», и казалось мне настоящим, а не эти лукавствующие писатели и международные журналисты, после крушения СССР поспешившие, как, впрочем, всегда, заявить, что все их «ленинианы» сочинялись ими «ради прикола» и были направлены только на то, чтобы еще больше идиотизировать власть коммунистической геронтократии во главе с последовательно сменяющими друг друга Брежневым-Черненко-Андроповым, — ну а то, что им еще за это и весомые гонорары платили и премии Государственные да Ленинские — так кто же откажется от дармовых денежек? Никто. От роскошных квартир, от Малеевки и Пицунды, от замечательной поликлиники на метро «Аэропорт», от переделкинских барских усадеб с прислугой? И от командировок по всему белу свету, как борец и диссидент Евтушенко, объехавший за государственный счет в самые еще *те* времена 110 стран? Так он, оказывается, и боролся с системой, отсасывая из нее свои щедрые суточные, командировочные и нехилые гонорары, пока не склеил ласты на покое в проклятой Америке.

Ну да, вот еще один загадочный факт — к преждепомянутому Межирову с его «Коммунистами, вперед!»: когда Евтушенко приехал в воюющий Вьетнам читать свои стихи, без которых вьетконговцы жить и победить никак не могли, американским пилотам выдали карты с его маршрутом по стране, чтобы, не дай Бог, не сбросили бомбы на нашего пламенного борца и трибуна и чтобы его не задело случайным осколком. Он потом в ЦДЛе показывал на каком-то вечере эту карту...

Как он еще добыл ее... Сам директор ЦРУ, вероятно, ему ее вручил на закрытом от посторонних глаз и ушей торжестве по случаю победы над СССР в холодной войне. Вот и делай выводы тут — кем и чем были эти писаки, певцы коммунизма и всяческого рода Братских ГЭС, прославлявшие Ленина-Сталина, а потом почивавшие на заслуженных пенсиях в Техасе и где там еще. Разве мы, на Тверском, 25, имели к ним какое-то отношение? Правда, тот же Вишневой как-то обронил мне сакраментальное:

— Подожди, нас еще на персональных машинах будут возить...

Тут я вовсе уже растерялся и задумался: а куда это я все-таки угодил?.. Что же такое — наш институт, если мой многомудрый старший товарищ-поэт безапелляционно так заявляет?.. Оранжерея для особенных идеологических фруктов?..

Вероятно, таковой была одна из иллюзий Вишневого на 1-м курсе, и, кажется, в искореженном и видоизмененном виде она у него и оставалась до конца его жизни: я ничего не знал о нем — мы разорвали отношения поздней осенью 1978-го года, на втором курсе — и я практически не интересовался его жизнью, даже пока мы сидели в одной аудитории до поры. После того, что произошло, мы с ним даже не здоровались больше, тем более, когда мы по окончании разошлись и разъехались в разные стороны

СССР. Убыл в свой Крым или в Тбилиси — без разницы — Саша, и для меня в том было даже некоторое облегчение. По крайней мере больше не видеть его и не слышать его замечательного баритона, отпускающего язвительные плоские шуточки по поводу и без повода.

Но в чем-то существенном Саша все-таки просчитался: мало того, что вернулся в Крым без диплома, так и никто не спешил к нему с персональной машиной, прилагающейся к предполагаемой должности, которой его даже и не думали наделять тамошние местечковые коммунистические бонзы, восседавшие в издательстве «Таврия» и в курортных листках вроде нашего фрумкинского «Коммуниста Кобеляков». Может быть, именно им и не хватало Сашиного диплома: сперва закончи образование, Вишневой, а потом мы подумаем, куда тебя трудоустроить... Это, конечно же, было замечательной отговоркой, потому что «спасение утопающего — дело рук самого утопающего» оставалось незыблемым законом и правилом, таковым и пребывает до сей поры. По словам Лены Черниковой — а именно на них я основываю свое пунктирное повествование о последних десятилетиях жизни Вишневого — он так и застыл в своем горделивом величии непризнанного гения. Нигде не работал, никогда не опускался до черных неквалифицированных работ, которыми мы, оставшиеся в Москве, совсем не гнушались. Обладая великолепным чутьем на празднества, застолья и пиршественные компании, отточенным за пять лет пребывания в коридорах и семи этажах нашей общаги на Добролюбова, 9/11, он весьма успешно применял эти навыки в Симферополе, проникая всюду, где спорадически раздавалась бесплатная снедь и разливалось дармовое вино по поводу и без повода. Вероятно, регулярность и постоянство Вишневого в этом занятии несколько все-таки раздражали его крымских знакомцев, — некая тень недовольства чувствуется в их мемуарных заметках о нем. Ну а что тут поделаешь? — Саша — поэт, местный гений, разве жалко куска мяса с мангала и стакана вина? Тем более, мемуарист вполне состоялся в бизнесе, потому и не обеднеет, накормив и напоив пока непризнанного поэта. Так писали о Саше к первой годовщине со дня его смерти, — летом 2009 года я случайно узнал, что ровно год назад он умер в Крыму — и чуть ли не от голода. Я кликнул тогда в интернете его стихи, кликнул экстерьер и интерьер его дома, в котором он родился и прожил до конца своих дней, — и ужаснулся совершенной нищете этой разваливающейся от дряхлости лачуги, в которой ничего примечательного не было, кроме книжной полки, набитой растрепанными книгами. Вишневой по сути оказался как бы бесприютным странствующим поэтом, несшим в своей судьбе отблеск античных странствующих софистов или сказителей эпоса, бредущих от деревне к деревне, преодолевающих бесконечные пространства в бесцельном блуждании по ойкумене, а слушатели за сон золотой, за словесное красочное, напевное воспоминание великой народной истории кормили сказителя нехитрой крестьянской едой — чашка вина, кусок хлеба и овечьего сыра, пара черных медных монет — под голубым куполом предвечного неба, в виду синего предвечного моря, в виду горных кряжей, на которых обитали некогда олимпийские боги... Что же он делал, чем занимался, — если жил в такой ужасающей нищете? — изумился было я — и не смог внятно себе самому ничего объяснить. Вспомнилось и то давнее упование Вишневого о персональной машине — из далекой зимы 1978 года. Отчеканилось во мне в связи со всем этим невесть откуда и невесть зачем: *страшна не смерть, но бездарно прожитая жизнь*. Но вправе ли я или кто-то другой судить о сути жизни любого человека, тем более поэта, каковым Александр, судя по всему, и остался до конца? Кто я такой и какое право имею судить о бездарности или небездарности его жизни, если совсем ничего не знаю о нем и не знал все эти годы, прошедшие с окончания института? По крайней мере можно сказать, что жизнь Вишневого была цельной, и в ней он сам не оставил ничего, что препятствовало бы ему заниматься только и исключительно поэзией, — я бы даже сказал: ужасающе цельной, потому что без жалости и сомнений он отсек и полугрузинку-жену Аллу Сафонову, и их общего сына, и какие-либо попытки трудоустройства в Крыму — с дипломом или без диплома, все было принесено на алтарь служения поэзии, как он это служение понимал. Только Лена Черникова, оставшаяся в Москве, связывала его с текучим миром литературной действительности, да еще, может быть, Сережа Васильев, прекрасный волгоградский поэт, безвременно умерший в самом начале 2016 года, унаследовавший, по мнению знатоков, есенинскую утонченность и трепетность. Александр и Сергей обменивались время от времени письмами. Обоим, похоже, не хватало оставленной уже в прошлом Москвы — Вишневому в Крыму, Васильеву в Волгограде. В 90-е годы я часто приезжал в Волгоград по делам и неизменно останавливался у Сережи на «Семи ветрах» и был невольным свидетелем, как разрушался его брак с молдаванкой Сашей, нашей же однокурсницей, — однажды целую ночь мы втроем просидели на кухне, и я безуспешно пытался сохранить советами и словами то, в чем живительная сила любви и привязанности уже умерла.

Вспомнив Сережу Васильева с его тихой и светлой поэзией (даже один из его сборников назывался «Тихотворения»), не могу не сказать о некоторых для меня неожиданностях, произошедших как Сережей, так и с поэтом из Мордовии Сашей Пудиным. На курсе у нас был всего один член КПСС — Дима Алентьев, бессменный комсорг во все годы учебы, — ну, к Диме и относились, можно сказать, соответственно довольно скептически — дух вольности, дух свободного творчества и литературной бесприютности, как мне казалось, преобладал в наших аудиториях.

Вот именно: тебе так только казалось...

Дима после окончания института надел военную форму и всю жизнь проработал на присущем и свойственном ему месте, а именно в журнале «Пограничник». Ни перестройка, ни гласность, ни развал государства, ни перекройка державных границ, которые он охранял словом своего пламенного стиха, не поколебали его вполне благополучного бытия. Вот краткие данные из Википедии о нем:

«С 1978 года — начальник студии писателей: баталистов и маринистов Федеральной погранслужбы России, подполковник. С 2001 года работает в журнале «Милиция».

Конечно, такие обороты умиляют: «начальник студии писателей». Специально такое не придумаешь ведь. И потом — в 1978 году мы были с Димой всего-то на втором курсе, — и как же ему удалось уже стать «начальником студии писателей»?..

И такие люди нужны государству. Как и тот, который писал тех «Зомби» и «Стерв»... Вот он твой — «дух вольности».

Да, мы с первых дней знали настоящую цену будущему подполковнику погранслужбы и ничего особенного не ждали от Димы. Но когда тихий лирик, мягкий и замечательный парень Сережа Васильев подал заявление, чтобы его приняли в партию Ленина, я испытал настоящий шок. То же сделал и Саша Пудин, мордвин. Ну, с Пудиным хоть можно было что-то понять: национальный кадр, вернется в Саранск на готовую должность в местный Союз писателей, возглавит театр и т.д. (С Пудиным так и произошло все, и он до сей поры вполне себе процветает, уже в Москве, а прежде, после Саранска, даже в Ростове-на-Дону возглавлял несколько лет местный театр, попав в известную номенклатурную обойму. Если перечислять его должности, заслуги перед государством и Министерством культуры, не хватит страницы). Но Сережа Васильев весьма и весьма удивил. Хотя — опять-таки — а что я знаю о Васильеве? Может быть, таким условием было обставлено его возвращение в Волгоград, в вечернюю газету, от которой он и получил ту квартиру на «Семи ветрах», в которой они с женой Сашей давали мне пристанище в 90-х годах?

Расскажу еще один эпизод, причем позаимствую его у самого Сережи. Он характерен некоторыми особенностями, присущими Дому Герцена: наш институт принадлежал и принадлежит до сих пор Союзу писателей СССР, и, понятно дело, на каждом курсе училось по нескольку человек детей известных советских писателей. На нашем курсе, к примеру, учились сын Анатолия Рыбакова Алексей, дочь Григория Бакланова Шурочка, дочь поэта Владимира Соколова, красавица Снежана, к сожалению, рано умершая. На старших курсах учились — Олеся Николаева, Оля Солоухина, Лена Ананьева, на младших — Алена Шугаева, Аня Герасимова, Томас Чепайтис, Егор Радов... Понятно, что за писательскими дочками некоторыми нашими ребятами-провинциалами велась целенаправленная охота: в случае удачи решались основные вопросы, стоявшие перед каждым приезжим в Москву — вожделенная прописка в Москве, трудоустройство куда надо и помощь в издании собственных опусов со стороны маститых состоявшихся и состоятельных пап.

Сережа отнюдь не был таким искателем счастья. Но все же попал в переплет. Но, к чести его, искушение преодолел таким вот образом:

«(После командировки на Дальний Восток) роман с писательской дочкой длился и длился. Когда приехали в Москву, она увезла меня в Переделкино, в трехэтажный такой особняк, и познакомила с папой и мамой. Возвращались в Москву на электричке, сказала: «Сережа, все это будет наше — и дача, и машина, и публикации в толстых журналах, и книги. Папа поможет». Папа был большим человеком в Союзе писателей. И прозаиком, кстати, очень неплохим. Мы уже подали заявление в загс, а я потом сбежал — пусть уж она простит меня! Я испугался солнечного благополучия — что же я-то буду делать, если у меня и так будет все?

Мне до сих пор стыдно и перед ее отцом — мужик настоящий был, и перед застенчивой и немножко стыдливой мамой, которая тоже сочиняла стихи...» («Мой Литинститут»).

Может быть, у кого-то что-то и получилось с писательскими отпрысками, но на моей памяти таковых людей не было. Только один поэт с младшего курса, подобно Сереже, подал уже было заявление в ЗАГС, его избранница и невеста пригласила меня даже на свадьбу, но... повторилась судьба Сережи Васильева: жених тоже сбежал от

обещанных немыслимых благ московского писательского бытия. Впоследствии этот поэт перешел на прозу и стал вполне успешным писателем и литературным деятелем, выпустил более двадцати книг.

Не искусился Сережа и отъездом за границу — поэтесса Ива Николова, дочь известного болгарского художника Николы Николова из Габрово — тщетно умоляла Сережу уехать с ней в Софию и тоже, вероятно, обещала ему все заграничные блага. (Помню ее красочный рассказ, как новый 1978 год она встречала в Париже с отцом в одной компании с Сальвадором Дали). Но Сережа пошел по другому пути: женился на заочнице Саше из Кишинева, вернулся в свой Волгоград, в котором и прожил до конца своих дней, много написав, много издав, много чего успев сделать. Он вообще оказался настоящим литературным работником по призванию, как, впрочем, и записано у нас в дипломе в графе «специальность»: два десятка лет издавал замечательный детский журнал «Простокваша», переложил на доступный детям язык «Детскую библию», издал десяток стихотворных книг для детей, писал сказки, рассказы, издал много своих поэтических сборников. Молодая поэтесса, к которой он ушел от нашей Саши, ведет страничку в «Фейсбуке», посвященную его творчеству, в социальной сети «Вконтакте» тоже есть группа поклонников Сережи. Молдаванка же Саша бесследно исчезла.

Вот эта только непонятка с членством в партии у Сережи немного смущает...

Болгарки вообще весьма были активны у нас. Так увезен был за кордон Сережа Литвиненко и там где-то безвестно пропал. Наш Володя Тереладзе, поэт из Тбилиси, женился на дочери болгарского партократа Милене Лиловой, но не вынесла душа поэта сытой жизни на социалистическом Западе. Что и как там было — история умалчивает, разумеется, но конец Володи был трагичен весьма: он умер бездомным, ютился и собирал милостыню под храмом Александра Невского в центре Софии. Вот как пишет о нем Лена Черникова:

«Замёрз на площади в Софии бездомным поэт-переводчик Владимир Тереладзе, он же редчайший художник, за которым ушлые галеристы подбирали с земли эскизы, зная цену и ожидая конца. Любовь навылет и смерть вне войны...»

Что было до этого? Как он жил? Что делал? Почему Милена выставила его из дома на улицу и на гибель? Что имеет в виду Лена, говоря о «любви навылет»? Любовь прошла, и Володя вылетел из квартиры, из благополучного быта — на улицу, в нищету? «Навылет» — из жизни... И чувствует ли Милена Цветкова Лилова хоть тень какой-то вины за собой?..

Я разыскал в интернете единственную публикацию о Тереладзе в какой-то болгарской газете — о нем уже писали как о поэте-бомже, но, продираясь сквозь частокол чужеродного колючего наречия, мало что для себя уяснил. О нашем украинском поэте Ярославе Павуляке, женившемся на дочери словацкого министра, учившейся вместе с ним, я уже говорил.

Но был ли кто-нибудь из них счастлив?

Вопрос на засыпку, и ответа, разумеется, нет. В том-то и дело, что эти женитьбы на девушках-иностранках и отъезды в страны Варшавского договора наших ребят тоже ведь происходили не от хорошей жизни в Союзе. Кого-то доставал КГБ, кто-то надеялся на «цивилизацию» и «порядок» в социалистическом лагере. Павуляк, к примеру, питал какие-то надежды на культурную и литературную жизнь этнического украинского меньшинства в словацком Пряшеве, — на Украине ему просто не давали прохода, и он находился под особым подозрением за то, что, будучи кроме всего прочего и скульптором, еще до поступления в Литинститут, в 1969 году, в родном селе своими руками соорудил памятник Тарасу Шевченко, за что подвергся систематическому преследованию от местных властей...

Ну, дуболомства и дурости у коммуноидов хватало всегда. Зато позже президент Кравчук, при Советах — ни много, ни мало — заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ и член Политбюро ЦК КПУ, рассказывал байки о том, как в детстве носил в лес бандеровцам сало и хлеб, тем самым борясь за независимость Украины...

Кто на базаре кричит громче всех «Держи вора!» — сам вор и кричит. Прочих же — наивных, робких, чающих движения воды и хоть каких-то благих перемен — система перемалывает в фарш и выбрасывает на обочину. Хорошо, если еще не за колючую проволоку и не в расстрельные ямы, как прежде, в 20-е и в 30-е годы, но в никчемность, в алкоголизм, в сугубую и страшную для творческого человека изоляцию. Изоляцию — по жизни. И нет виноватых ведь... Кому Переделкино и путешествия по всему миру с закатными вечерами в шезлонге в Майями, а кому смерть от голода или от водки в ожидании, что вот-вот, немного еще — и начнется наконец настоящая жизнь.

Вишневой умер в Крыму по совершенно непонятным причинам. Сережа Васильев написал, что от рака. Кто-то сказал мне — от голода. А Лена Черникова и вовсе меня

удивила диагнозом: Вишневой умер от непризнанности... В 56 лет...

Я все пытался понять природу этой непризнанности и каким образом от нее можно было бы умереть, но так и не смог. Ведь по сути своей что такое признание и в чем оно должно выражаться? В издании книги? Хорошо, книга издана, но ее никто не заметил, никто не прочел. Это ведь тоже своего рода непризнанность? Мой близкий друг Геннадий Русский, неизвестный и непризнанный же писатель, даже несмотря на то что в 70-80-е годы его произведения широко печатались в русской эмигрантской прессе на Западе, а в 1991-м году мы с Петром Паламарчуком издали 50-тысячным тиражом его знаменитую «Черную книгу» в «Столице», тоже в полной мере остался непризнанным, непрочитанным, непонятым и забытым. До самой смерти в 2006 году он неустанно писал свою летопись времени, свои разноликие и разнообразные книги, посвященные Русскому Северу, русской литературе, прошедшим сталинщине и войне, на которые пришлось его детство, юность и молодость. Он за свои деньги издавал эти книги, раздаривал друзьям и знакомым, и вот теперь — спустя 25 лет — остатки этих тиражей после смерти его вдовы Лидии Ивановны Иовлевой пришлось спасать мне: родственникам они не нужны, занимают место в квартире и на даче, — разве что сжечь?..

Разве это признание?

Но тому поколению были присущи выносливость в нечеловеческих условиях существования, некая толстокожесть, что ли, отсутствие иллюзий по поводу «персональных машин», но все-таки радость от осознания того, что вот и еще один день прошел в тишине и тебя не повлекли под белы руки в тюремный мешок или на плаху невесть за что — просто за то, что ты не такой, как все и не хочешь дуть в одну дуду в редакционных «отделах партийной жизни», и ты еще написал пару страниц за сегодня, и вот вечером, на тесной кухоньке поднимаешь рюмашку с близким другом, сотрапезником и сотаинником, который так же, как и ты, выживает под этой несокрушимой и вечной плитой разливанной коммунистической лжи, под эти развеселые песни о товарище Сталине и «Ленин всегда живой», и вы живы, вы молоды, и все еще у вас впереди... Да, никогда не увидать вам своих текстов, набранных в Москве типографски, — ну и что?.. Будем жить как живем, но не бросим писать — ведь жизнь человека проходит, а писатель живет все-таки для будущих поколений. Прорастая метафизически в будущее... А то, что на российской эстраде, на костях загубленных ради светлого будущего миллионов людей и сограждан, правят бал развеселые бовины, боровики, евтушенки, — ну что ж тут поделаешь? Не мы выбирали это время, но оно выбрало нас... И история здесь еще не заканчивается.

«Умер от непризнанности»...

Да, как-то вот так...

Тело Вишневого вскрывал врач, который был его близким другом. Вскрытие показало: Александр был здоров, ничего рокового. Прежде думали: сердце, рак, что-то еще...

Ну, что же, может быть, диагноз Лены Черниковой единственно верный?

Глава 12. ИНОСТРАНЦЫ НА ТВЕРСКОМ, 25

Маленького и тщедушного араба *Мифу Абдурахмана*, прозаика из Южного Йемена, я любил как младшего брата. Он был тих и спокоен, практически не говорил по-русски, по прошествии пяти лет учебы его словарный запас разве что пополнился парой десятков идиом и расхожих русских словечек. Совершенно не представляю себе, как он сдавал экзамены и зачеты, но вполне допускаю, что в учебной части существовал некий циркуляр по поводу иностранцев-писателей на Тверском, 25 и оценки Мифе и другим арабам ставили просто-таки по обету и интернациональному долгу перед развивающимися африканскими странами. У Мифы к моменту его зачисления в институт в Адене уже вышла книжка, потому и решили на социалистическом совете в ЦК бедуинских старейшин отправить Мифу на учебу в Литературный институт имени какого-то никому там неизвестного Горького. Книжку эту на арабском языке он мне подарил и подписал что-то вроде عبد الرحمن الداخل.

Поди разберись с пожеланиями Мифы...

Жаль, что при многих моих переездах она потерялась. К окончанию первого курса успешно дворничая на Большой Бронной и занимаясь какими-то мелкими гешефтами с книгами и чем-то забытым еще, у меня накопилось около 1000 рублей, и перед летними каникулами, узнав о том, что Мифа отправляется на родину с пересадкой в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи, мы договорились о том, что на обратном пути он привезет мне японский портативный магнитофон — заветную мечту каждого советского юноши. Я вручил Мифе трудовую тысячу и целое

лето предвкушал мелкособственническое и сладостное меломанское будущее. Лето закончилось, но Мифа все не возвращался. По прошествии осени я уже обеспокоился не на шутку. В учебной части о Мифе тоже не ведали ничего. В январе, когда началась сессия, я уже простился со своими деньгами, так неосмотрительно отданными в руки дружественного йеменского коммуниста. Когда надежд увидеть снова Мифу не осталось совсем, он и вернулся, как ни в чем не бывало. И противу чаяния привез магнитофон National Panasonic.

— В чем же дело, Мифа?!! — напустился я на него.

— Пришлось воевать, Сероштан, — ответил он, — с автоматом в руках... За социализм, за Ленина и за товарища Али Насер Мухаммеда...

Такого социалистического героя я, конечно, не знал, и Мифа как мог объяснил мне суть конфликта, в который неожиданно для себя попал в Южном Йемене вместо психоделического жевания в тени бедуинской палатки листьев *ката* — наркотического растения — и размышления о счастливом будущем йеменских пастухов. Эти дела были от нас и тогда весьма далеки, а особенно сегодня, по прошествии сорока лет, когда геополитическая обстановка не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире кардинально изменилась, уже и вовсе ничего не понять. Поэтому в двух словах я расскажу о событиях, в которых мой друг Мифа Абдурахман, арабский писатель, едва не сложил свою курчавую голову, ну а я чуть не похоронил свою кровную тысячу вместе с надеждой на обладание чудом японской техники.

В ту пору на Ближнем Востоке у СССР был единственный друг — Южный Йемен, который на свой лад и почин пытался строить арабский коммунизм, враждуя при этом со всеми своими географическими соседями. Конечно же, строительство нового общества, не успев и начаться, не обошлось без понятных и знакомых нам перегибов. Возглавивший в 1969 году страну Салем Рубейя Али стал инициатором мероприятий, нанесших йеменской революции, по мнению Мифы, большой вред: крестьян насильно загоняли в кооперативы, национализировали собственность мелких предпринимателей, торговцев, владельцев транспортных средств и кустарных мастерских. В общем, все происходило по тем же лекалам, что и у нас в 20-е годы. Узурпатор и его сторонники кормились с руки СССР, но при этом пытались противопоставить Национальному фронту так называемые комитеты рабочего контроля и комитеты народной обороны, в которых насаждались анархистские нравы и вражда к государственно-партийному аппарату. Комитеты эти выступали против тезиса о руководящей роли пролетариата, с чем мой друг Мифа был категорически не согласен. Хоть он и был писателем, но за пролетариат готов был на все. Ко времени наших летних каникул 1978 года влияние Рубейя Али сильно упало. В этих условиях он и спровоцировал конфликт с Северным Йеменом в надежде на консолидацию всех патриотических сил — этот принцип и до сих пор весьма действенен, о чем свидетельствуют сегодняшние конфликты на Украине. 23 июня 1978 года, связавшись с «северным» президентом Ахмедом Хуссейн аль-Гашми, он попросил принять его личного представителя с конфиденциальным посланием. Но это был, понятное дело, засланный казачок: заложенная в дипломате посланца бомба взорвалась, при этом был смертельно ранен аль-Гашими. Погиб и сам террорист-смертник. Власти Северного Йемена справедливо обвинили президента южан в организации убийства. Как оказалось, Салем Рубейя давно готовил переворот. На тайных складах для этого собиралось оружие и боеприпасы, в воинских частях готовились послушные ему люди.

Нет бы читали книжку Мифы, дурачье!..

Однако его поддержали лишь соплеменники из его же бедуинского клана и всего одна пехотная бригада. Понятно, что наш Мифа был на стороне народа и противников узурпатора власти Салема Рубейя. Сопротивление мятежному президенту возглавил великий сын йеменского народа Али Насер Мухаммед. Президентский дворец с утра 26 июня стали бомбить самолеты министерства обороны, а верные президенту части бригады из Хараза со стороны Баб-эль-Мандебского пролива были остановлены на подступах к столице. Президентский дворец был окружен, и к вечеру президент сдался. Тем же вечером Салем Рубейя, начальник его администрации и первый секретарь ОПОНФ Третьей провинции были расстреляны. Премьер-министром был назначен Али Насер Мухаммед, еще более верный друг Советского Союза, чем расстрелянный узурпатор.

Вот что лежало в опасном ближневосточном прогале между моей злосчастной тысячей рублей и золотым, сладким сном меломании, расцвеченным Третьей программой польского радио по мощному приемнику с глубоким, никогда не слыханным замечательным звуком.

Мифа не был бы природным арабом, если бы не попытался слупить с меня еще 500 рублей дополнительно — ведь подобные аппараты в знаменитой комиссионке

на Садово-Кудринской стоили именно 1500 полновесных рублей, но все-таки мне с ним удалось полюбовно договориться: пришлось долго и упорно продавать какие-то шикарные итальянские женские сапоги с цепями на голенищах, привезенные им из все того же «дьюти-фри» аэропорта имени Леонардо да Винчи, пока не отыскалась какая-то московская модница, которой для женского счастья именно таких сапог и не хватало.

National Panasonic... Сколько же он претерпел от тебя, Сероштан, за 40 лет беспокойного твоего жития...

А ведь National Panasonic жив до сих пор — и пленку крутит, и FM-радиостанции принимает исправно, только вот на коротких волнах слушать уже совсем нечего, на FM же царит коммерческое проплаченное дерьмо вроде прежней оголтелой эстрады Советов, только технически более оснащенное, а на кассетах, за которые когда-то отваливал перекупщикам по 15 рублей за штуку или давился в многочасовых очередях в ЦУМе, чтобы взять несколько блоков по 7 или 9 рублей, сегодня никто уж не ездит. А тогда, на Тверском, 25 и на Добролюбова, 9/11 National Panasonic работал круглые сутки: Третья программа, «Голос Америки» и «BBC», разная музыка Alice Cooper, Doors, Emerson, Lake & Palmer и других музыкальных титанов на нескольких драгоценных кассетах... Брат, остававшийся до поры в Кобеляках, с горделивым видом ходил по набережной Ворсклы, и ему завидовала вся тамошняя молодежь: у его старшего брата в Москве ураганный National Panasonic!.. 24 часа непрестанной работы в сутки, — сколько раз заливали его вином, без счету раз он падал на пол и на Тверском, и в 9/11, сворачиваемый в танцевально-пьяном угаре развеселившимися не по разуму молодыми прозаиками и поэтами, дважды тонул в реках — в Ворскле и в Днепре, обсыхал на солнышке и снова послушно тянул пленку, принимал Третью программу и «BBC»... Только время от времени приходилось спиртом чистить магнитные головки в кассетоприемнике и однажды поменять резиновый пассик лентопротяжного механизма. Все исправно работает, — но уже все это не нужно теперь. Сама же компания уже лет 25 назад распалась на National и Panasonic. Магнитофон же со сдвоенным именем уже давно заслуженно отдыхает от меня на книжном шкафу, и я включаю его на пару минут раз в 2-3 года.

Последний раз я видел Мифу Абдурахмана в день получения нами дипломов. На коллективном снимке нашего курса он стоит ровно посередине.

Ты знаешь, где покоится National Panasonic, но где пребывает Мифа и что с ним теперь, когда Ближний Восток разочаровался в социалистическом пути и идеи Ленина-Маркса сменил на радикальные идеи ИГИЛ, никому из знаемых и живущих неизвестно...

Другим арабом на Тверском, 25 был высокий и рыхлый телом студент из Ирака *Аль-Малех Саади*. Он учился на курс младше, и я практически с ним не был знаком. Слышал только, что нашим девушкам в 9/11 он за сексуальные услуги платил колготками из валютной «Березки». Девушки охотно принимали такие подарки от похотливого Саади, дорвавшегося до легкодоступных утех свободной любви в СССР — в победившем неизвестно кого и зачем социалистическом обществе колготки были дефицитом, как и многое другое, простецкое и понятное ныне.

Запомнился рассказ одного из однокурсников Саади о том, как тот страшно перепугался и бегал панически по общаге, когда в Ираке ко власти в 1979 году пришла партия Саддама Хуссейна. Сам же Саади был членом Партии арабского возрождения, ветви панарабского движения Баас. В начале-середине 70-х годов сирийские и иракские баасисты благополучно и ожидаемо вступили в союз с коммунистическими партиями всего мира в рамках своих «Прогрессивных фронтов». Обе ветви ПАСВ, он же Баас, установили дружеские связи с КПСС. Именно в ту пору перспективного иракского коммуниста Саади аль Малеха и отправили учиться на Тверской, 25, на радость нашим друзьям противоположного пола, которым так не хватало вожделенных колготок из валютной «Березки». Саади не на шутку боялся, что злокозненный Хуссейн пришлет за ним наемных убийц в 9/11, и его сексуальная колготочная маза закончится, но все обошлось. Но, кажется, в Ирак наш Саади больше никогда не вернулся.

Летом 1982 года Саади отправился на практику в Ливан. И тоже, как прежде и Мифа Абдурахман, попал в переплет. Пока Саади собирался в путешествие, в Ливане обстановка накалялась. Он попал в Бейрут с пересадкой в Дамаске. Не успел практикант Саади распаковать чемоданы, как израильская авиация начала бомбежки Бейрута. К концу лета Саади вернулся целым и невредимым в Москву и рассказывал о своих подвигах: в номер отеля, где он жил, попала бомба. Но Саади в это время счастливо отсутствовал, и в огне погибли только лишь его книги. Что тут правда, что вымысел, понять невозможно, конечно. Думаю, как арабский сказочник, эту историю он сочинил для нашей учебной части и для доверчивых девушек, чтобы ахали и крепче

любили спасенного чудом героя. Но вскоре после своей практики Саади написал некий «Бейрутский дневник», который через несколько месяцев опубликовали в журнале «Иностранная литература»...

Кажется, наш Саади и сегодня вполне процветает. Вот что нашел я о нем в интернете:

«С конца 2007 года департамент (сирийской культуры и искусств при региональном правительстве иракского Курдистана) возглавил известный иракский писатель, журналист и переводчик д-р Саади аль-Малех. Советские и российские читатели знакомы с произведениями аль-Малеха на русском языке, главным образом с его прозой: «Рассказы из Анкавы», «Города и чемоданы» и др. А в 1982 году журнал «Иностранная Литература» опубликовал его «Бейрутский дневник», написанный им в осажденном израильской армией Бейруте. Аль-Малех является также автором переводов с русского на арабский язык произведений Чингиза Айтматова («И дольше века длится день»), Нодара Думбадзе («Закон вечности»), Юрия Рытхэу (киносценарий к фильму «Самые красивые корабли») и других авторов».

То есть, говоря другими словами, судя по сегодняшней должности, Саади был совсем не арабом, но курдом. Но что мы в те времена понимали в столь тонких дефинициях?.. Когда началась война между Ираком и Ираном, Саади рассказал своему конфиденту, нынешнему главе азербайджанского землячества в Самарской области Хейрулле Хаялу, который тоже учился с нами и которого я совершенно не помню, что война его лично тоже коснулась. Ну а как же: Саади должен же был выглядеть мучеником?.. У него вроде было три брата, один жил в Чехословакии. В Европе жил еще один брат, в какой стране — Хейрулла точно не помнил. На родине оставался только один брат, и он за всех своих братьев отдувался на фронте. Однажды Саади зашел в комнату к Хейрулле и пожаловался, как ему тяжело. Оказалось, что ему сообщили, что брат получил тяжелое ранение и у него ампутирована рука... Еще у Саади, как вспоминает Хейрулла, было редкое чувство юмора, он умел смешно рассказывать, слушать смешные истории тоже любил. И про войну тоже, особенно до несчастья с его братом. Говорил, что первые месяцы войны иракские солдаты на фронте обеспечивались наилучшим образом. Прямо в окопы доставлялись ресторанные блюда. Родителям убитых солдат злобным и нехорошим Хуссейном выплачивались большие суммы вспомоществования. Какое-то из нелегальных иракских изданий опубликовало такую карикатуру: один мужик спрашивает у другого: «Что же ты такой грустный?» Тот отвечает: «Вернулся...» Конечно, такого диктатора, как Саддам Хуссейн, следовало только свергнуть и повесить, что и сделали американские друзья и товарищи. Нечего на фронте солдат ресторанными яствами потчевать.

Перед отбытием в Ливан, в 1982 году, Саади жил в одной комнате в 9/11 с моим однокурсником Виктором Галантером, евреем из Кишинева, прославившимся тем, что на каждом углу и при каждом удобном случае называл самого себя «гением». После окончания Витя опубликовал единственную свою книжку под названием «Интим», изданную за свой счет — его теща продавала ее в подземных переходах и на улицах; надо думать, тогда Витя и понял о полной бесперспективности писательского труда, переквалифицировался в журналиста и многие годы работал в «Вечерней Москве». Где он теперь и что делает, неизвестно.

Про болгарок ты уже рассказал. Давай теперь про Фикре...

О да, самым экзотичным иноподданным был на Тверском, 25 эфиоп *Фикре Толосса,* единственный чернокожий студент Литературного института. Фикре приехал в Москву из настоящей эфиопской дыры, которая так же и называлась — Дыре-Дауа, но быстро освоился в заснеженной и морозной столице СССР. Он не стал ограничиваться, как Саади аль-Малех, покорением белых девушек посредством колготок и чего-то еще там из «Березки», перед чем никак не могли устоять наши девы. Он развил активную деятельность в творческом ключе: Фикре много писал примерно такими вот крякозябрами:

ሞትን ብማጠነው ብዬ ከኔ አትምጣ፥
ውስጥህ ነኝ ያለሁት፤ አለኝ በለበጣ።
በየወር፥በየዐመት ውስጥህን ቦርቡሬ፥
ስጥልህ ታያለህ ኖሬ ተሰውሬ።

Затем из этого строгал подстрочники и навязывал всему населению института перелагать их в удобочитаемые вирши. Причем Фикре был настоящим многостаночником: с легкостью писал и стихи, и драматургию, и прозу. О результатах сказать ничего не могу. Владимир Козаченко, сегодняшний удачливый московский издатель православной литературы, деливший с Фикре комнату в 9/11, утверждает,

что наш эфиоп был записным графоманом, о чем мне, конечно же, трудно судить — я его не читал никогда. Но — очень активным, никакие авторитеты его не смущали, понятие о скромности было ему неизвестно. Со своими подстрочниками он проник даже к звезде тогдашнего поэтического Олимпа Белле Ахмадулиной с предложением «перевести» их, так сказать, в настоящие стихи. Беллу трудно было развести и искусить молодым африканцем-поэтом, в отличие от нашей учебной части, весьма благоволившей к веселому и неунывающему Фикре и, вероятно, просвещенной Михаилом Павловичем Ереминым об эфиопском происхождении Пушкина. Белла Ахмадулина внимательно просмотрела подстрочники и вынесла свой вердикт: «Я думала, Фикре, что вы поэт, а вы оказались просто негром...» Но такое расовое уничижение от Ахмадулиной совсем не расстроило и не остановило Фикре, и он принялся писать еще больше, проникая, подобно воде, во все дырки тогдашнего советского литературного сообщества. Как ни странно, он весьма располагал к себе не только дам из учебной части, но и многих людей, как студентов, так и маститых писателей, иначе как бы ему удалось проникнуть к Ахмадулиной.

И все же...

И все же Фикре смог весьма нас всех удивить. К олимпийскому 1980-му году Литинститут потряс невероятный и неописуемый скандал: любимчик учебной части Фикре Толосса по пути на каникулы в родную Эфиопию, в Дыру-Дауа, где как раз в ту пору его народ миллионами вымирал от голода и гуманитарной катастрофы, вызванных многолетними засухами и неудачами социалистического строительства и землепользования, одновременно воюя с агрессорами из Сомали и Эритреи, неустанно посягающими на суверенные эфиопские земли, наш Фикре остался невозвращенцем в Германии, где должен был всего-навсего сделать пересадку в аэропорту по пути на помощь страдающей африканской отчизне. Не захотел Фикре в своей Дыре ни воевать с сомалийцами, ни кормить голодающих детей советскими баранками, привезенными из Москвы в чемодане, ни даже строгать убогие подстрочники своих литературных потуг, а выбрал Фикре наш — весьма неожиданно для всезнающей и все контролировавшей учебной части — свободу. По слухам, его сразу же приняли в одну из редакций «Радио Свобода», где он успешно начал работать на разрушение недостроенного эфиопского социализма и лично — против генерального секретаря ЦК Рабочей партии Эфиопии Менгисту Хайле Мариам, кровавого палача, узурпатора и негодяя, но при этом, как водится, лучшего друга СССР и всего прогрессивного человечества...

И кто пострадал из литературного начальства?

История умалчивает. Может быть, В.Ф. Пименову, как ректору идеологического вуза, поставили на вид старшие товарищи из 5-го отдела КГБ СССР такую досадную недоработку, пожурили нашего «боцмана» (как назвал его как-то в застолье наш преподаватель А.Н. Власенко), да и кто бы посмел тронуть такого коммунистического динозавра? Ведь наш Владимир Федорович не когда-нибудь, а с грозного для советской культуры 1947 года и вплоть до 1960-го был заместителем председателя Комитета по делам искусства ЦК КПСС... Какой там мелкий власовец, эфиоп-перебежчик Фикре мог поколебать такую идейно-политическую глыбу? По крайней мере о нем постарались в институте поскорее забыть. Володя Козаченко до сих пор считает, что наш приветливый и пронырливый эфиоп был агентом западных спецслужб, засланным зачем-то на Тверской, 25. Хотя какие там секреты могли быть у нас, в институте?.. Кто подписывал письмо против Пастернака? Так это случилось давно, и все подписанты известны и заклеймены на веки вечные.

С той поры прошло 40 лет, но Фикре Толосса вовсе не сгинул в безднах беспамятья, как того заслуживал и чего стоило ожидать. Я кликнул его имя в социальной сети Фейсбук и кое-чем был весьма удивлен: Фикре не только вполне себе процветает, но живет уже в Сан-Франциско и явственно занимается все тем же — активно рисует свои поэтические крякозябры, чем занимается неявно — не скажет никто, кроме кадровых чинов ЦРУ, и пользуется большой популярностью на просторах интернета: у него 32 411 человек подписчиков и 5000 друзей, страничка его представляет собой настоящую вязь, ибо ведется на амхарском наречии и эфиопской грамматикой, там же он указывает, что учился (но, кажется, все-таки ничего не закончил) в University of Bremen, West Germany и Neilsvilled High School, Wisconsin. О пребывании в Литинституте нет ни полслова.

Вообще советским людям тех давних лет присуща была некая идеализация иностранцев, — ну, с капиталистами тут все понятно: советский человек смотрел на них, как на марсиан из космических глубин, но идеализировались весьма даже самые захудалые иноподданные, из третьего мира, кроме разве что монголов. Почему для Саади и для Фикре в Москве были открыты все двери? Вовсе не потому, что они

обладали возможностью беспрепятственно покупать что-то в «Березке», нет, но по общей, весьма присущей нам всем гостеприимности, открытости и любопытству. Мы своих-то малознакомых приятелей часто принимаем по-царски, а уж заезжего араба тем более накормим-напоим так, что вовек не забудет. Может быть, скажет где-нибудь у себя в Конго, или где там еще, о том, какие хорошие люди проживают в Москве и в России.

Это примерно похоже на то, что рассказывал мне как-то Геннадий Васильевич Трусевич, попавший с начала 60-х годов после хрущевской военной реформы в московскую партийную номенклатуру среднего звена. Райком КПСС пересаживал без устали его с должности на должность — то он распределял квартиры на московском заводе, то ведал социальными вопросами в одном из НИИ, то еще что-то подобное, и вот как-то посадили его на очередную шикарную синекуру — заместителем главы всего пожарного ведомства СССР. Ничего делать не надо, знай себе начальствуй и представительствуй со всеми вытекающими преференциями и удовольствиями. В этом качестве он объехал и облетал весь СССР, якобы инспектируя готовность к тушению пожаров, и чего только в этих поездках не видел, не ел и не пил. А был Геннадий Васильевич заядлым рыбаком, и, естественно, местные владетельные князьки, борцы с возгораниями, устраивали для него царские рыбалки — и на Камчатке, и на Курилах, и в Астрахани — причем с быстроходными катерами, с уловами невероятных размеров, с разливанным морем лучших водок и коньяков, с молодыми огнедышащими пожарницами, с осетрами, балыками, икрой от пуза и по колено:

— Геннадий Васильевич! Родной! — кричали хмельные начальствующие пожарные. — Все тут твое! Ешь, пей, веселись! — и главное пожелание затем с придыханием произносилось, ради чего и делалось все: — Только в Москве там скажи, что у нас все хорошо... Замолви о нас доброе слово...

В этом и заключалась суть тогдашней, да и сегодняшней, номенклатуры. Она ведь никуда не делась, неизгладимое наследие коммунизма...

Может быть, это сравнение несколько гипертрофированное, разумеется, но примерно так относились мы, жившие за ржавеющим железным занавесом, к пришельцам из других двух миров. И если уж наши арабы с эфиопами привечались душевно и щедро московским хлебосольным народом, то когда в стены нашей alma mater попал миловидный поэт *Педро Коррea Васкес* из крошечной Панамы, затерявшейся где-то в Латинской Америке, то институтское руководство во главе с В.Ф. Пименовым вообще, кажется, по-настоящему уверовало в окончательную победу живоносных идей марксизма-ленинизма для всего угнетенного человечества, которые без всякого сегодняшнего интернета добрались в этакую заокеанскую глухомань. Надо ли говорить, что перед нашим Педро, как носителем столь редкого языка, как испанский, раскрылись все двери неприступных для нас редакций, особенно тех, что специализировались на переводной и политической литературе — «Прогресс», иноязычные редакции АПН, журналы «Иностранная литература», «Дружба народов» и прочие. Редактора и редакторши с распростертыми объятиями принимали званого и незваного Педро в служебных кабинетах и у себя дома, кормили от пуза бедного сероглазого, тонконогого, замерзшего в наших снегах латиноамериканца, помогали чем могли и, главное, публиковали его стихи на страницах газет и журналов. Думаю, Педро был все-таки не бесталанным поэтом и отличался от многих из нас, и особенно от меня, завидной работоспособностью. Об этом свидетельствовали его многочисленные публикации, с завидной частотой появлявшиеся на общеинститутской своеобразной «доске почета». Причем публикации не только в козырных советских печатных изданиях, но и развороты в панамских и прочих испаноязычных газетах и журналах. И сегодня, спустя 40 лет, можно при желании отыскать следы Педро в электронных каталогах наших библиотек — порядка трех тонких книжиц вроде «Истоки панамской поэзии» я обнаружил, запросив в поисковой строке его имя. Читают ли их? Нужна ли сегодня кому-то эта поэзия? Еще одно из достижений Педро — перевод части текста рок-оперы «Юнона и Авось» А.Рыбникова на диске, вышедшем на фирме «Мелодия» в 1983 году. Так что в этом смысле Педро вместе с Саади аль-Малехом вполне опережали всех нас, природных славян, ожидавших какого-то вдохновения или же просветления — на бульварах, в дружеском застолье или в горячих спорах о потаенных смыслах вещей. Одна из тех прошлых редакционных дам сегодня описывает в Фейсбуке, как привеченный ею иностранец настойчиво звал ее замуж, даже несмотря на то что у нее был влиятельный муж, который и помогал, между прочим, нашему Педро с публикациями, да и возрастом дама была постарше искателя приключений из далекой Панамы. Ее рассказ называется «Как я чуть не стала панамской женой». Наверное, такие истории тешат женское самолюбие, когда все давным-давно в жизни прошло и исчезло вместе с молодостью, красотой и нерушимым Союзом. Она

живописала некоторые детали из пребывания Педро в Москве, неизвестные мне: Педро после окончания Литинститута очень не хотел возвращаться обратно в Панаму. Да это и понятно — здесь ему в разы было лучше — он здесь был особенным, диковинным иностранцем, желанным гостем в московских домах и редакциях, а там, на берегах Панамского канала, кому он был нужен со своими стихами? Кто бы там его накормил щедро и без денег совсем? Кто бы платил солидные гонорары? Издавал его книжки в таких уважаемых издательствах, как «Молодая гвардия»? Наталья П., опубликовавшая свой рассказ, с жаром приняла участие в устройстве судьбы предполагавшегося невозвращенца в Москве. И не могу в это поверить: вместе с мужем они даже нашли ему должность в издательстве «Прогресс», к которой даже прилагалась... квартира. Вот так ценились иностранные специалисты в советской Москве... Но препятствием, как утверждает рассказчица, послужила Ира Мельникова, на которой наш Педро недавно опрометчиво зачем-то женился: она не была москвичкой, а «Прогресс» уже неоднократно сталкивался с такими проблемами: после того как иностранные специалисты завершали работу в издательстве, русские жены — из Пензы, Рыбинска или Уржума — наотрез отказывались покидать вожделенную московскую жилплощадь. Все-таки Педро куда-то ненадолго приткнули, но в конце концов панамцу скрепя сердце пришлось возвращаться на далекую родину. С ним в заморский предполагаемый рай убыла и наша Ира Мельникова. Жена...

К третьему курсу меня вынудили по ряду причин съехать из дворницкой квартирки на Тверском, 25, и я оказался в общежитии на Добролюбова, 9/11. С Педро Корреа Васкесом мне пришлось недолгое время соседствовать в отдельном двухкомнатном блоке над троллейбусной остановкой на пятом этаже, но мы при всем этом ухитрялись даже не здороваться с ним, усиленно не замечая друг друга. Причина нашей взаимной антипатии была очень простая, и я вовсе не понимаю, как интернет-рассказчица Наталья П. не заметила особицы в своем назойливом ухажере-латиноамериканце, а если и заметила, то никак в своем повествовании о «панамской жене» это не обозначила, — Педро был активным гомосексуалистом со всеми вытекающими из этого подробностями. Я часто замечал на лестничных пролетах молодых ребят, ожидающих отсутствующего Педро. Судя по внешнему виду, они были из хороших и состоятельных московских семей, из престижных вузов, о которых мы, приезжие, не могли даже помыслить. А на вахте лежало распоряжение: *«К Педро мальчиков не пускать!»,* и об этом знали все в общежитии. Но московские «мальчики» благополучно в комнату к моему соседу все-таки проникали. Педро всегда мог договориться как с вахтерствующими старушенциями, так и с комендантшей общаги по имени Эра. Но я не понимал — и тогда, не понимаю и по сию пору — чего этим благополучным московским ребятам все-таки не хватало по жизни? Других ощущений, природу которых невозможно понять и представить? Иностранного латиноамериканского шарма? Тем не менее они липли к худосочному панамскому парню, как мухи, и даже приводили к нему новых друзей. Но не всегда нетрадиционные утехи и праздники в комнате Педро проходили без шума. Как-то раз я стал свидетелем грандиозного скандала, на который слетелось все общежитие. В компании заднеприводных ребят к Педро привели нового паренька, который, как и Наталья-рассказчица, не подозревал об истинной подоплеке и природе такого визита к гостеприимному панамскому стихотворцу. Паренька подпоили, и он задремал на кровати, компания тем временем по предварительному уговору убыла восвояси, ну а Педро спустя какое-то время пристроился к спящему с известными намерениями. Тут мальчишка проснулся и с ужасом понял, куда и зачем его привели. Он начал мутузить нашего Педро, тот, полуголый, едва вырвался из своей комнаты, тут высунулся на шум-гам и я, и оказалось, что Педро очень даже знает мое имя, несмотря на нашу взаимную неприязнь:

— Сероштан, — закричал он, — спаси, меня убивают!.. — и выбежал в общий коридор.

Я зашел к нему в комнату: парень громил все, что видел, — повалил стеллаж с дефицитными книгами, купленными в книжной «Березке» на Кропоткинской, разбил посуду, зеркало, что-то еще, при этом в голос рыдал, и по его лицу катились крупные слезы:

— Я убью этого педераста! — кричал он. — Ты представляешь?.. Ты представляешь, что он хотел со мной сделать?!..

Конечно, представить ничего я не мог и как-то вяло пытался его успокоить какой-то пришедшей мне на ум этимологией вроде: «Надо же соображать, что имя Педро произошло от слова «педрила»... Надо было понимать, к кому тебя привели...» etc, сам же мельком пытался рассмотреть груду вожделенных книг на полу, — помню, заметил «Петербург» Андрея Белого, только что вышедший в «Художественной литературе». Тут наконец-то прибежала куча народу во главе с комендантшей Эрой и вахтершами защищать Педро от вандала и врага прогрессивной панамской поэзии:

— Как ты сюда попал, хулиган?!.. — кричали хором они, напустившись на рыдающего пацана. — Мы сейчас вызовем милицию!.. А ты, Васкес! Сколько тебе говорили: не води сюда никого!.. Как он прошел через вахту?!..

Препирательства у разгромленной комнаты Педро продолжались долго довольно. Я защищал паренька и призывал Эру с вахтершами на миг представить, если бы такое случилось бы с ними...

Аргументы не по делу, Сероштан, — верно, тетки во главе с Эрой остались бы очень довольны подобными притязаниями...

Парнишка этот тем временем оделся и, утирая сопли и слезы, куда-то исчез. Конечно, никто милицию не стал вызывать. Гомосексуализм в ту советскую дремучую пору, в отличие от сегодняшней вседозволенности и даже намеренной демонстративности, считался уголовным преступлением, и пойманные на мужеложстве получали солидные тюремные сроки. Если... не хотели в известном смысле сотрудничать с органами МВД или же КГБ. Педро, как иностранец, подлежал ведению и заботе Лубянки. По крайней мере ничего ему за этот дикий скандал не сделали. Комендантша только получила очередное внушение от учебной части по поводу ужесточения пропускного режима к Педро, который усилился только тем, что не строчными, а уже прописными буквами был запрещен проход к нему друзей мужской стати, но с повадками женщин. Он же зажил по-прежнему. Вскоре меня переселили в другую комнату, с длинным общим коридором, подальше от Педро, как нежелательного свидетеля произошедшего инцидента. Мы так с ним и продолжили не здороваться при вынужденных случайных встречах.

Ира Мельникова, его однокурсница, тучная, рыхлая телом очкастая поэтесса, весьма некрасивая и по этой причине не имевшая времени и возможности дожидаться у моря погоды и какого-то прекрасного принца на белом коне, по всем правилам взяла равнодушного к женским прелестям Педро в довольно решительную осаду. Она по нескольку раз в день приходила к нему, готовила есть, убирала комнату после приема гостей, отпаивала Педро травяными отварами после неумеренных возлияний по нашим обычаям, перепечатывала для него на машинке рукописи для журналов... Однажды я даже мельком увидел, как Ира моет ему ноги в тазу. Она, конечно же, знала о сексуальных предпочтениях нашего иностранца, но, как ни странно, они даже повышали ее шансы на фиктивный во всех отношениях брак с ним, ведь ей важно было единственное: чтобы ее легально вывезли из СССР куда угодно, а это в ту пору было возможным исключительно через замужество. Педро в конце концов оценил ее услуги по заботе о нем и ведению хозяйства весьма положительно и, вероятно, усмотрел практическую выгоду в том, что у него в Панаме будет служанка-рабыня, которой не нужно платить ни бальбоа, не претендующая совершенно ни на что и благодарная ему по гроб жизни за то, что вывез ее из страны победившего социализма. Несостоявшаяся «панамская жена», рассказчица Наталья П., тоже отмечает в своем мемуаре настойчивость незваной невесты и даже в каком-то смысле, подспудно, укоряет ее за то, что та продавила женитьбу сероглазого и тонконогого Педро на себе. А так бы — остался бы Педро в Москве и стал бы советским писателем...

Все так и произошло, как замышляла наша Ирина: она вместе с Педро уехала в Панаму. Не знаю, что и как она для себя там нашла, но после смерти Педро Корреа Васкеса от СПИДа, как и подобает подобным любителям и профессионалам нетрадиционного секса, через третьи страны, с несчастьями и страданиями, без гроша в кармане она вернулась в Москву. Здесь она рассказала Эргали Геру о том, что в Панаме она что было сил ругала тамошних коммунистов и предостерегала их от строительства социализма, называя даже козлами. Ее соломенного муженька Педро вроде как зарезал любовник. Он дожил всего до 40 лет. Так что и с его смертью, как со смертью Вишневого в Крыму, ясности нет никакой.

Помыкавшись по Москве и ничего здесь не найдя, Ира вернулась в свой родной Брест. Чем она там занимается и как выживает, не знает никто. Эргали написал мне о ней: «В последний раз она приезжала в Москву в 1997-м, что ли, году. Выглядела плохо — одутловатая спитая тётка...» Думаю, ее судьба сложилась похлеще сюжета любого романа, тем более похлеще латиноамериканского сериала с розовыми соплями.

Странная история произошла и с интернет-рассказчицей Натальей П. Ее публикация обросла большим количеством комментариев от разных благосклонных читательниц, которые ахали от умиления от этой романтической московской истории любви юного панамского красавца-поэта и умудренной неприступной редакторши, тоже вроде как несомненной красавицы, — и при этом всем развороте душещипательных событий и волнительных чувств где-то в сторонке стоял мудрый и влиятельный муж, который все понимал и не мешал развиваться этому платоническому приключению и даже помогал Педро публиковаться. Рассказ висел на странице Натальи больше года, обрастая, как

снежный ком, все новыми и новыми восторженными дамскими комментариями, пока я сдуру не встрял со своим — о гомосексуальности Педро. И вот спустя всего один день после того, как я обнаружил Наталью в сети и прокомментировал ее сентиментальную публикацию, рассказ этот вкупе со страничкой Натальи... бесследно исчез.

Наверное, тебе надо быть более толерантным, Сероштан. За тобой следит, наверное, сам Цукерберг... Или панамские коммунисты. А может быть, и наши престарелые к этому дню покровители Педро с Лубянки. Они же своих не бросают. И светло чтят память погибших все равно от чего подвижников веры в торжество коммунизма в Латинской Америке...

Глава 13. «СЛАВА БОГУ, ЧТО У НАС ЕСТЬ КГБ!»

Можно как угодно относиться к этой бессмертной фразе, сказанной наследником старинного дворянского рода, а в ту пору бессменным генералиссимусом Союза советских писателей. Он ничтоже сумняшеся в столь необычном соединении двух вроде взаимоисключающих понятий, как Бог и КГБ, превзошел не только мыслимую земную, историческую и политическую логику, но и невзначай, по-фрейдистски совсем, выдал одну из страшных тайн советской эпохи: да, эти, казалось бы, несовместимые понятия успешно можно слить воедино, даже в некий монолит — этими душевредными опытами на практике занимались успешно вполне чекисты в 20-х годах прошлого века под руководством товарища Тучкова, лепившего Русскую церковь и церковную жизнь по дьявольскому наваждению и наитию. А то, что во все стороны летели ошметки мяса людского и кровь напитывала русскую землю до черноты, на это плевать: каких только жертв не принесешь Молоху светлого будущего?..

Ну да, ты там, пока сторожил реквизированные святыни в Музее атеизма на Таганке, в 90-х годах, все это прокнокал долгими одинокими вечерами, — знаешь...

К ранней осени 1978-го года мои Кобеляки и мои друзья Зойка, Серж, Вадюра и Шоня были уже в далеком-далеком прошлом. Так мне по крайней мере казалось. Я изо всех сил жил новой жизнью: места моего обитания — Большая Бронная, Тверской бульвар и Пушкинская площадь, где когда-то стоял замечательный Страстной монастырь, а ныне толклись хиппи, уличные шалавы и серый прохожий люд из бесчисленных разных контор, кафе «Лира», «Аист», Малая Бронная, Патриаршие пруды, Кинотеатр повторного фильма, Мила Космачевская, Лика Харитонова, Тамара Пастернак, Аркаша Суслов и другие наши придонные интеллектуалы из московского музыкального и литературного подполья — забили пестрядью и разнообразием встреч-толковищ память о том убогом, жалком, безликом, от чего я бежал когда-то из Кобеляков. Какой там «Красный свиновод», какой там Сократ Иванович Фрумкин, обросший мхом и водорослями, вкупе со своей неразлучницей Дорой Михайловной и ее женсоветом на агитационной площадке, бесплатном развлечении комсомолок 20-х годов? Какая там «Розочка», будь она неладна со своими швейными машинами, отнявшими у меня полжизни, если я после блистательных лекций Михаила Павловича Еремина о Пушкине или Евгения Николаевича Лебедева о древнерусской литературе, Ломоносове и Поупе, отправлялся вечером на Калининский в студию электронной музыки, где длинноволосый Владимир Мартынов со своими товарищами, авангардными композиторами и музыкантами, искали новые пути звукоизвлечения, искали неизведанные пути, создавали принципиально новую музыку, которую даже сегодня, не то что тогда, так и не услышать по радио. Старшие товарищи, композиторы и искусствоведы, обсуждали музыкальные особенности записей с магнитофонных бобин, передаваемые с оказией из Прибалтики — имена Ноно, Берио, Пярта, Штокхаузена, Кшиштофа Пендерецкого волновали мой слух, но ни о чем мне до известного времени не говорили. А ведь я был, кажется, продвинутым меломаном, — но тут и Третья программа польского радио была бессильна мне чем-то помочь, даже с их природным, казалось бы, поляком Пендерецким. К олимпийскому году Студия электронной музыки была прикрыта из-за идеологических соображений 5-м отделом КГБ — кто-то там долго и натужно размышлял над этой проблемой, анализировал разведданные и донесения сексотов с Калининского, и наконец двинулась прихваченная ржавчиной шестеренка: студия может принести вред образцовому облику коммунистической столицы... Да и Олимпиада была на носу. Но зерна уже были брошены в почву. Сегодня Владимир Мартынов, признанный к этому дню выдающимся композитором, культуртрегером и философом, расценивает те прошлые времена, когда КГБ старалось придушить те робкие ростки творческих поисков как в музыке, так и в литературе вкупе с общественной мыслью, как *самое свободное время* минувшей эпохи. Да это и понятно вполне: сталинщина и хрущевщина миновали уже, на Западе случились беспрецедентные события: «лето любви» 1968 года, первые хиппи, пришедшие на

смену битникам, Вудсток, музыка Beatles и других групп, студенческие волнения в парижской Сорбонне, Чехословакия, «Один день Ивана Денисовича» — ветхий, старый мир распадался на куски прямо-таки на глазах, и из-за железного занавеса даже к нам, в сонные Кобеляки, что уж тут говорить о Москве, доносились отголосками мятежные звуки, инфернальные шумы, какие-то тихие метафизические токи и веяния. С замедлением, конечно же, в несколько лет. Помню, я по-настоящему страдал перед уходом в армию, в 1973-м году, что опоздал родиться на несколько лет раньше: ведь славная троица «J», или, по-другому, «клуб 27» — Джими Хендрикс, Джэнис Джоплин и Джим Моррисон, — уже покинули этот мир в свои 27 лет, навсегда его изменив, а мы, а я... В Москве кованый сапог начальника 5 отдела КГБ СССР Филиппа Бобкова давил все эти экспериментальные театрики, музыкальные лаборатории Мартынова и Артемьева, рок-концерты в подмосковных маленьких клубах каких-то сгинувших безвозвратно групп, на которых разве что на люстрах слушатели не висели, цензоры отцеживали из предполагающихся к публикации рукописей «комаров», и смелые, вольнолюбивые авторы вроде Вознесенского и Евтушенко грудью ложились на амбразуру, отстаивая крамольные, как им казалось, строчки вроде «Уберите Ленина с денег, // Он — для сердца и для знамён!», Рыбникову восемь раз отказывали в пропуске к слушателю и зрителю «Хоакина Мурьетты», хотя какая там была для нашего развитого социализма опасность в лирико-драматическом описании приключений убогого чилийского парня и его подруги на калифорнийских приисках времен «золотой лихорадки» в середине 19 столетия... Старперы-совписы десятилетиями — до 40 лет — держали в «молодых», а значит, совершенно в бесправных писателях, творческую поросль: пусть публикуют свои собрания сочинений фронтовики, они заслужили, а вы гуляйте и ждите-ждите-ждите ответа пока... При этих присных ребятах — какие бы Пушкины с Лермонтовыми были бы возможны в литературе? Даже Гоголь ушел бы из жизни в звании «молодого писателя», плохо знающим русский язык и идейно невыдержанным, а уж за богоискательство не миновать бы ему Соловков.

И при этом Мартынов называет ту эпоху гонений и притеснений — самым свободным временем жизни...

Конечно, Владимир Иванович судит по себе и по своему окружению, да и по нам тоже, студентам и бесприютной молодежи, которые проникали на подпольные концерты, читали машинописный или ксерокопированный самиздат и если слушали музыку по радио, но не по тому, которое начинало каждое утро нового дня с михалковского гимна и по-прежнему принадлежало комсомольцам-добровольцам с оловянными глазами вроде Хиля-Кобзона, но по крайней мере по польской Третьей программе.

Потомок столбовых дворян писал:
«Коммунизм»! Нам это слово
Светит ярче маяка.
«Будь готов!» — «Всегда готовы!»
С нами ленинский ЦК!»
Но кто это читал, этот мрак? Вы же читали что-то вроде:
«Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих».

Отвечу тебе тем же:
«Чистый лист бумаги снова
На столе передо мной,
Я пишу на нём три слова:
Слава партии родной...»
И далее ля-ля-ля крайнего, тошнотворного словоблудия...
И получать, получать, получать...

Вы же с Аркашей выбрали свободу — дежурить в газовых котельных, колоть лед на Тверском, сторожить Музей атеизма... Но — не сочинять такой ужас. Что тут уже говорить, когда жизнь почти что прошла, как у того же Вишневого в Крыму, и ничем не закончилась...

Говоря о свободе, присущей рубежу 70-80-х годов прошлого века, Мартынов подразумевает то, что людям — пусть не всем, но многим в Москве, но нам тогда

казалось, что именно — всем, — все, что происходило, было чрезвычайно важно: переполненные клубные залы, многочасовые очереди в подвал на Малой Грузинской на полуподпольные выставки «20 московских художников», творческие поиски самих этих художников, повальный отход от социалистического реализма, богоискательство студентов журфака МГУ и массовый, можно сказать, приход в православие бывших эзотериков, поклонников Шамбалы, исповедников йоги и таких простаков-атеистов, как я и многие мои однокурсники. Конечно, нет никакой универсальной формулы, нет никакого общего психологического возрастного закона, и я вовсе не имею права проецировать на всю советскую, или уже возьмем — московскую молодежь свои собственные ощущения, воззрения и предположения. Понятно, что народ разным был, и даже студенчество разных вузов сильно отличалось друг от друга. Когда в середине 80-х годов в Москве проходил Международный фестиваль молодежи и студентов, помощников партийных организаторов мероприятия, лучших из лучших, идеологически выверенных, обрядили в своеобразную униформу: особые светло-серые курточки, очень симпатичные, между прочим, — и я тогда воочию поразился несметному количеству проверенных комитетами ВЛКСМ и надежных будущих строителей коммунизма и вершителей судеб в скором уже будущем, которое нас всех ожидает, вот этих самых верных помощников: они были всюду, везде... Может быть, тогда я впервые и задумался о том, что это не Дима Алентьев, не наши М. и Е. из смехотворного и нелепого комитета комсомола Литинститута — не они вовсе белые вороны, а мы с Аркашей Сусловым, или такие, как мы, совсем недавно еще обреченные на жительство и общественно-полезный труд на Колыме.

Спасибо за то, что просто оставили вас гнить и спиваться на воле, в дворницких и в котельных. И даже в Москве... Социализм с человеческим лицом... Самое свободное время, как сказал Владимир Мартынов...

Со времен Кобеляков я переписывался с русским писателем Виктором Ивановичем Лихоносовым из Краснодара и, будучи самопальным западником и декадентом, по-детски спорил с ним о поэзии Гарсиа Лорки и прочих подростковых решительных благоглупостях. Наша переписка с перерывами продолжалась и из Читы, и после моей демобилизации, и вот в начале осени 1978 года, через общагу 9/11, где я был прописан, как и прочие иногородние студенты, я получил краткое письмо: мне что-то такое привезли от Виктора *Афанасьевича* вкупе с приветом, и надо бы нам повидаться... Ошибка с отчеством, кажется, меня не смутила особенно — ну с кем не бывает, перепутали краснодарские командированные. Я позвонил по указанному в письме телефону, человек, ответивший мне, предложил встретиться в гостинице «Минск». Оказавшись в стандартном безликом номере «Минска» и увидев перед собой двоицу таких же стандартных и безликих мужчин, я понял, что Виктор Иванович Лихоносов не имеет никакого касательства к этим ребятам, и безликие эти и есть те самые «товарищи из Москвы», которым кобелякский ментяра, как я наивно думал тогда, обещал переслать мое пухлое армейское дело в далеком уже августе прошлого года. И вот только теперь у московского КГБ дошли руки разобраться со мной и с моими ошибочными воззрениями на американские «кадиллаки» и отечественные «жигули».

Познакомились: молодой — Валентин Георгиевич, постарше — начальник — Виктор Васильевич. Насколько эти имена были настоящими, судить не берусь. Номер в «Минске», уступленный якобы «другом» для встречи, под цифрой 919 — зачем-то мне нужно было и это запомнить. Для конспирации затем в своих записках я так эту двоицу и называл — «919», или «валькáми». Запомнил и день — 11 сентября 1978 года.

Для будущего?.. Оно уже наступило, пришло. А от «Минска» к этому времени уже ничего не осталось...

Они в два голоса согласно и слаженно расспросили меня об учебе, что да как там у нас, будто им было до учебы моей какое-то дело. Не знаю, какими уж психологическими методиками они обладали, но выучка подавления личности у них несомненно была. Мне не сказали ничего такого жесткого и особенного, ну, поворошили остывшие угли былого и напомнили тот бредуган, собранный совместными невероятными усилиями райотделов и управлений ГБ по местам жительства читинских моих сослуживцев, — да что тут такого? — но мое сердце будто бы сжала некая ледяная рука, и затосковала душа, в голову начали лезть мысли о том, что вот все у меня и заканчивается, не успев и начаться. Не помню, угрожали ли мне как-то и чем-то эти ребята — врать не хочу, но по меньшей мере делали вид, что знают гораздо больше, чем я себе представляю. Но мне вполне дали понять, что, если хочу продолжить учебу на Тверском, 25, я должен их информировать обо всем подозрительном, что там у нас происходит.

— Конечно, — согласился с облегчением я, — если я что-то услышу такое, я вам сообщу!..

Куда там!..

Спасибо, не поиронизировали они еще по поводу терактов и заложенных в мусорных урнах бомб... Понятно, что такая жалкая и смехотворная уловка моя никогда бы не исполненного хитроумного, как мне казалось, обещания — я ничего крамольного не услыхал, не видел, не знаю, потому до свиданья, оставьте меня в покое и дайте спокойно готовиться к сессии, миссия выполнена, — вполне была предусмотрена ими. Сколько таких умников, как я, они видели в течение каждого рабочего дня? Наметили мне скорую встречу, сколько я ни отбрыкивался и ни ссылался на занятость в институте. В общем, из «Минска» я вышел как обгаженный — и изнутри, и снаружи.

Отчаяние и тоска овладевали мной. Я шел по улице Горького — от «Минска» к Тверскому бульвару — вокруг кипела столичная жизнь, девичьи голоса, милые лица, обрамленные локонами, цветастые легкие платьица, развевающиеся на ветру, наплывающем снизу, от стен Кремля, с Манежной, народ в переходе под Пушкинской площадью, толпящийся у телефонов-автоматов, расхватывающий у газетного коробейника свежую «Вечерку» этого дня бабьего лета, теплого, светлого, ясного для всех, кроме меня, понуро бредущего между сонмом разноликих людей, — солидные мужчины с портфелями, набитыми важными документами — где эти бумаги теперь? Несущиеся от Кремля автомобили, сгнившие или переплавленные к этому дню, с важными начальствующими седоками, — теперь-то где они все? На кладбище или в Монте-Карло? Ползущие неспешные троллейбусы, набитые пассажирами, — вся эта и прежде не совсем понятная для меня жизнь, к которой я имел весьма косвенное касательство, ныне вовсе стала мне чуждой. Вернее, это я, и прежде едва заметный эон в этом громадно-бесформенном организме, живущем по своим законам и сминающем судьбы людей, как консервные банки, или, что исчезающе реже, возносящем, снова-таки по неизвестным причинам и прихотям судьбы и удачи, некоторых заезжих-приезжих на самые верхотуры власти, это я, я — гребаный Сероштан из занюханных, забытых Богом Кобеляков, пущенный на минуту постоять в прихожей этой блистательной, неведомой жизни, это я был здесь чужаком, незваным гостем-татарином, а теперь и вовсе уже пора собирать в обратный путь чемодан. Эти ребята из «Минска» не знают пощады: движение может быть только в одном направлении — вперед, в бездну. Если сказал *«а»* — проговоришь весь алфавит. Еще и припугнули нехило перед расставанием вроде бы ненадолго: никому ни гу-гу, все, что сказано здесь, — страшная государственная тайна...

— Товарищи комитетчики, дорогие защитники безопасности государства и лично товарища Брежнева, а что я сделал такого, что вы меня взяли в такой оборот и принуждаете к каким-то странным делам, которые категорически не нравятся мне? Я кого-то убил? Я что-то украл? Я виновен в каком-то страшном неведомом мне преступлении? Почему?..

— Не нравится ему... Дома маме скажешь о том, что нравится или не нравится! — и, помедлив, вопрос на засыпку: — Ты что, против советской власти?

(Ну как, Сероштан, скажи-ка «да»... И посмотрим, что будет...)

— Нет, — сказал я.

— Тогда ты должен, обязан нам помогать! И нет уже места для «нравится или не нравится». Раньше надо было думать об этом, — в Чите, когда ты хаял советскую власть и наш образ жизни!..

— Да в чем я могу вам помочь? Я ничего не знаю из того, что вам интересно...

— Ты — слушай. Смотри. И запоминай. И каждый месяц будешь отчитываться вот здесь, в «Минске». Письменно...

Иначе... По меньшей мере: домой, в ненаглядные Кобеляки?.. Ну-ка, Сероштан, испытай судьбу, откажись...

Возвращаясь в Дом Герцена, я все прокручивал и прокручивал в голове весь этот тягостный и невероятный для меня разговор и лихорадочно искал какую-то неприметную трещинку, случайное микроскопическое отверстие, через которые я мог бы, как бесплотный дух, просочиться и ускользнуть от этой новой действительности, забыть обо всем, остаться самим собой, по-прежнему легкомысленным и доверчивым ко всем встречным и поперечным людям, остаться свободным и безоглядным дураком, каким, собственно, и был я всегда, — и ничего, никакой отдушины, никакой возможности не находил. Но что-то нужно было мне предпринять. Только я так и не придумал: что именно. Конечно, по наивности и неопытности я решил с ними вроде как бы играть: имитировать лояльность при встречах, но ничего существенного не сообщать, — да и что, по сути, я мог им сообщить? Институтская жизнь вполне была спокойной, даже рутинной, я бы сказал, отношения с моими друзьями — Вишневым, Володей Малягиным, Жегловым, Игорем Белоусом — были ровными и благожелательными. Антисоветских листовок по аудитории никто не разбрасывал. К свержению власти никто тоже не

призывал. Имени Солженицына не произносили, про «Архипелаг ГУЛАГ» слышали, конечно (по радио), но книгу никто не читал... Да, возможно, лекции Кедрова и были нетипичными, по причине их явного богоискательства, но они все-таки читались в открытом режиме, при битком набитой аудитории — даже с Тверского посторонний народ приходил послушать Константина Александровича с нашей восторженной подачи, — и вовсе не были тайными ни от ректора В.Ф. Пименова, ни от учебной части, ни от контролирующих что-то такое органов. Чем особым я мог дополнить Кедрова, интересно? Дима Алентьев, правда, однажды, скорее всего исполняя некое поручение, встал посреди пары и твердо потребовал у Константина Александровича прекратить расползаться по метафизическому древу свободных рассуждений и умозрительных предположений, а четко читать нам заявленный в расписании «русский фольклор» с песнопением задорных частушек про счастливую жизнь в советских колхозах, на что Кедров резонно заметил, что духовные стихи беглопоповцев и староверов тоже являются существенной частью отечественного фольклора. Ну а мы все посмеялись над Димой-комсоргом тогда, слишком уж нарочито, топорно выполнял чье-то дурацкое поручение будущий журналист-пограничник.

По предложенному мне телефону я, конечно же, не позвонил и вскоре снова получил письмо с напоминанием о том, что меня ждут в «Минске». Тут как раз в нашем украинском землячестве на 7-м этаже яркой кометой промелькнула внучка Ивана Франко, обдав нас, — или по крайней мере меня — обжигающими искрами и удушливой гарью галицкого воинствующего национализма. Внучка эта была уже достаточно старой, жила в далеком Львове, и то, о чем она нам вещала, мне крайне не понравилось, — все-таки мы, жители левого днепровского берега, ментально весьма сильно отличались от западенцев и особенно от галичан, — поэтому я решил, что если эти ребята требуют от меня чего-то такого, то я им, так и быть, расскажу про эту злосчастную внучку автора «Бориславa смеется». И пусть ищут во Львове ее, или в Бориславе, или где там она прячется в бандеровском схроне. Может, отстанут от меня наконец? Но я весьма удивился, что мой рассказ о галицкой бандеровке-эмиссарше не произвел на моих мучителей никакого впечатления — внучка Франко и украинский национализм был им совершенно по барабану. Это сегодня я понимаю, что полномочия московского и украинского КГБ были четко разграничены, и престарелая внучка-бандеровка, исходящая националистическим ядом, находилась в ведении и на попечении киевских блюстителей идеологической чистоты, а вовсе не московских гэбистов. Перед ними же стояли совсем другие задачи. Тогда же я совсем уже потерялся — чего же они от меня все-таки ждут? А они не только не выразили мне признательности за внучку Франко, но еще больше стали мне угрожать, причем самым, можно сказать, святым и важным тогда для меня — институтом. Полумеры, как с внучкой-бандеровкой, жалкая и убогая моя игра, отговорки не только не проходили, но все больше и глубже затягивали меня в нравственную и психологическую трясину. Если в первую встречу в «Минске» эти ребята со мной еще соблюдали какие-то приличия, интересуясь для отвода глаз моими успехами в учебном процессе, то уже сейчас вовсе не церемонились и грубо, нагло меня прессовали, вынуждая непонятно к чему. Если прежде я еще имел какую-то надежду выпутаться из этой ситуации, то теперь, к ноябрю-декабрю, я понял бесперспективность своей жалкой, вполне дилетантской игры. Оставалось только сдаться, и все.

В совершенно раздавленном и жалком виде я вернулся в свою комнатушку на Тверском, 25, и через какое-то время на чашку чая зашел Вишневой. Кажется, это был вторник, творческий день, когда мы в разное время посещали свои семинары, продолжавшиеся не более пары часов, а затем были свободны. Вот Вишневой и зашел ко мне после того, как закончились их посиделки с разбором стихов на семинаре у Сергея Смирнова. Конечно, я нуждался в совете: как быть и что делать, нуждался в понимании и, быть может, даже в каком-то сочувствии. Невзирая на угрозы о неразглашении государственной тайны, я рассказал Вишневому всю эту историю, начиная с Кобеляков и моего тогдашнего удивления никчемностью инкриминируемых мне прегрешений, повлекших за собой не только пухлое многостраничное «дело», но и сегодняшние невзгоды от безликой двоицы из номера 919 гостиницы «Минск», и вот эти угрозы выгнать меня из Литинститута. Сегодня я совершенно не помню, что сказал или что посоветовал мне Вишневой. Скорей всего, ничего, — разве что похмыкал своим баритоном, допил чай и уехал в общагу. Если бы он сказал что-то дельное мне, я бы, вероятно, запомнил, а так — в памяти осталась лакуна, пустое ничто. Да и потом — чем он, по сути, мог мне помочь? Разве что выслушать, понять, посочувствовать? Ну, вроде бы выслушал...

Как-то раз, уже в 90-е годы, отец Тихон Шевкунов сказал мне замечательную фразу: *всех люби, но ни с кем не сближайся*... Ключевую, можно сказать, фразу, универсальную формулу для любой человеческой жизни. Простая и емкая, включающая

в своей смысловой глубине метафизический код любой жизни. Только кто в силах следовать этой заповеди?.. Если бы тогда, осенью 1978 года, я знал бы и понял всю ее животворящую суть, я бы не наломал столько дров в своей жизни, избежал бы досадных и судьбоносных ошибок, которых вовек было уже не исправить. А всего-навсего следовало исполнить завет от моих «919» и не трепать языком в надежде на чье-то понимание и сочувствие.

Потому что тот мой разговор с Вишневым стал воистину для меня роковым.

Вернувшись в родную общагу и пораскинув мозгами, мой липовый друг сделал совершенно противоположные выводы о том, что услыхал от меня. После чего не поленился обойти комнаты наших сокурсников и авторитетно каждого предостеречь от общения со мной: *я знаю о том достоверно — Сероштан секретный сотрудник спецслужб, стукач, засланный казачок, подслушивающий все наши литературные и другие разные разговоры и передающий такую важную информацию прямиком на Лубянку, — ну вы себе представляете?!.. А мы ведь числили его совсем неплохим чуваком...* Саша вполне умел убеждать — густой дикторский голос с известной нарочитостью, стать, рост, уверенность в умозаключениях и суждениях, достоверности добавляло для всех и наше с ним тесное общение в течение прошлого учебного года — и никому в голову не пришло задать самый простецкий вопрос: а какие, собственно, у Вишневого есть доказательства моего сотрудничества с КГБ, кроме того что я сам ему рассказал? Да и совсем ведь о другом был у нас разговор...

Самое печальное здесь, что никто с курса, даже те, кого ты считал своими друзьями, как Малягин, допустим, или же Белоус, — никто не сказал тебе о возведенной на тебя Вишневым клевете-обвинении.

Тут еще раз сказалась дискретность и обособленность творческой молодежи Литинститута: каждый сидел в своей капсуле, занимался своими делами, боролся со своими демонами, что-то писал, выуживал из души и из памяти, выжимал словесные капли из худосочной фантазии или детских воспоминаний, искал созвучия, ритмы и рифмы, сходил с ума, спивался или попросту выживал под этим студеным ветром Москвы, столь губительном для пришлых наивных и самонадеянных провинциалов, что задавать лишние вопросы Вишневому о достоверности информации, вероятно, просто никому и в голову не приходило. Если Саша говорит, значит, знает, о чем говорит... Кто там будет разбираться с этим? Кому это надо? На всякий случай — будем подальше от Сероштана держаться... Поэтому даже те, кого считал я друзьями, ничего не сказали мне о том, в каком качестве я теперь прохожу в системе нашего студенческого коллектива.

В общем, ты попал между двух огней — оттуда тебя давили гэбисты, вынуждая к какому-то мерзопакостному сотрудничеству, а здесь тебя не то что даже предал и оклеветал перед всем честным народом человек, мнением которого ты дорожил и которого ты считал своим другом, но и напуганный им народ от тебя отшатнулся на всякий пожарный...

Ну, и конечно же, молчание Володи Малягина о слухе, пущенном Вишневым, меня тоже весьма удивило. Хотя какое у меня было право тогда даже ожидать, не то что требовать чего-то такого от кого бы то ни было. Хотя Володя мог бы сказать... Это уж после прочел я в Евангелии «не всякому словеси емли веры», ну да что уж теперь о том говорить... Непреднамеренно и он прокололся: я как-то заехал с Тверского в общагу постельное белье поменять у Эры в каптерке или еще за чем-то таким и зашел к нему в комнату. Володя в это время читал стихи Бродского. Когда я вошел, он поспешно прикрыл эти листочки машинописи... Ну, что тут сказать? Каждый поступал так, как считал нужным, и ни перед кем не обязан был отчитываться. Забота Вишневого о безопасности нашего сообщества от меня не ограничилась институтом.

Все-таки что-то еще подвигло Вишневого на такой шаг, который должен был уничтожить тебя. Не только забота о ком-то, как ты говоришь. Может быть, здесь некая ревность место имела. Хотя ты вряд ли на что-то существенное претендовал, не подозревая ни о чем даже. Не зря же Черникова почитала его каким-то липовым лидером курса. Может, Александр в связи с тобой опасался за свое самозванное лидерство? Но как и что сегодня можно во всем этом понять?..

Еще прошедшей весной я свел его со своими сердечными друзьями с улицы Герцена — с Милой Космачевской, Ликой, Тамарой Пастернак и Аркадием Сусловым. У Милы в комнате коммунальной дворницкой служебной квартиры в ту пору была могучая тусовка творческой молодежи — студенты близкого ГИТИСа, студенты из ВГИКа, захожане с арбатской студии электронной музыки, консерваторские девушки-композиторши, молодые художники из окрестных подвалов, мастерских и замоскворецкого «горкома», хиппи, собирающиеся в эмиграцию с фиктивными ев-

рейскими женами, Аркашины однокурсники из ТАССа и разных московских газет, эзотерики, поклонники Кришнамурти, буддисты и первые московские кришнаиты... Разношерстный цветастый народ — одни уходили, другие приходили, кто-то исчезал навсегда, а кто-то оставался надолго, но тоже не навсегда.

(И сегодня Милу мне не сыскать. Лика вышла замуж за голландца и уехала в Амстердам, актер с Таганки Ленька Власов давным-давно распрощался со сценой и тоже уехал в Голландию, занимался куплей-продажей подержанных автомобилей, художники работают грузчиками на книжных складах православных издательств, музыканты в ожидании откровений и вдохновения проживают до дна свои жизни, играя по нотам все те же мелодии Beatles, стремясь вернуть в этих созвучиях свою прошедшую молодость, когда все еще ожидало, казалось, нас впереди и ничего еще с нами не произошло, — та наша прошлая жизнь разбилась, как зеркало, на мелкие осколки, и никого, ничего не осталось от того эфемерного, зыбкого в памяти прошлого.)

Я привел Вишневого в эту пеструю и разношерстную компанию и представил как яркого и многообещающего поэта. Но, кажется, отношения его с компанией Милы не сложились никак — слишком разными были люди, собиравшиеся у Милы. Вишневой же был весьма заточен на общежитие 9/11, и там, в коридорах и комнатах, ему развлечений хватало вполне. Но все-таки после своего сенсационного открытия обо мне как об осведомителе 5-го управления КГБ СССР он не поленился причапать в квартиру на Герцена, — дома тогда была одна только Лика, которая и стала изумленным свидетелем волшебного превращения меня в кагэбэшного тайного монстра. Конечно, Лика с Милой сразу же побежали в конуру Аркаши на улицу Станиславского, забитую до потолка книгами, рукописями и всяческим самиздатом, и с вытаращенными от испуга глазами поведали ему об услышанном от моего однокурсника. Но Аркаша, наверное, оказался единственным человеком, кто критически отнесся к этому сообщению. Вишневой был ему практически неизвестен, он видел его пару раз у Милы, когда я туда его приводил и рекомендовал всему честному народу, ничем и никак Вишневой себя там не проявил, — как появился из ниоткуда, так и исчез в никуда. Наше же общение с Аркадием было к тому времени уже продолжительным, весьма интенсивным и плодотворным. Кедров, Лебедев и Еремин давали мне в своих лекциях много интеллектуальной пищи и знаний, но без Аркадия, без наших полуночных бесед, без его рукописей и книг и, главное, без его личного исповедования бескомпромиссного неучастия в делах тьмы, или, иначе, в жизни не по лжи, мое становление как личности, как человека, было бы неполным, ущербным. Хотя я и допускаю, что кому-то покажется, что все складывалось совершенно наоборот, и Аркаша — своей жизнью, своим бескомпромиссным нонконформизмом, своим откровенным презрением к житейским благам меня, на самом деле, десоциализировал, разомкнул житейский заколдованный круг, в котором каждый из нас родился, рос, жил и в свой срок умирал. Но именно он, единственный из друзей, оказал мне реальную помощь и поддержку в моем противостоянии с «919».

В конце ноября мне довелось заночевать у него — что стало причиной, мне уже не вспомнить: может быть, затянувшийся до поздней поры разговор, может быть, к моему соседу по комнате пришла девушка и он попросил дать им возможность побыть наедине друг с другом, — в ту ночь Аркаша и открыл мне глаза на Вишневого...

Знаешь, я всегда удивлялся, читая «Преступление и наказание», что Достоевский оставляет Раскольникова после убийства старухи-процентщицы несколько дней бродить по враждебно-равнодушному Петербургу в душевном смятении — и никак не пытается проницать в его душу и изобразить это самое смятение, — и только спустя какое-то время возвращается к своему герою, когда тот уже пережил собственный катарсис, и ведет повествование дальше. А ведь здесь, в этих вот потаенных днях, и кроется самое интересное — для искусства, для психологии, для художественного исследования... Но нет...

Так и я поступлю. Что толку рассказывать о том, что было со мной после слов Аркадия о Вишневом, когда все это в непреложном цинизме открылось той ночью под Аркашиной батареей, где я лежал на матрасе, не сомкнув глаз до утра. Это ведь было не простое предательство даже — дружбы, доверия, искренности. Когда человек тонет в болоте, а ты вместо того, чтобы оказать ему помощь, еще и притапливаешь его и радуешься, что человек этот погибнет, — это ведь не предательство, предательство — не оказать помощи, которая по силам тебе и которую ты оказать можешь, но не оказываешь по каким-то собственным соображениям, — но, вероятно, все-таки преступление, тяжелое, страшное для того, кто становится жертвой. Ладно, ты можешь думать обо мне что угодно, но зачем разносить свои домыслы по всем знакомым, по однокурсникам, однокашникам и даже по тем людям, с которыми я же тебя и познакомил... Я ведь действительно переживал в ту пору свой «последний миг», по слову 90-го шекспировского сонета: «Оставь меня, но не в последний миг...»

Нет, именно и суждено тебе было быть пораженным в твой последний миг — чтобы покрепче и навсегда ты это запомнил, чтобы утер свои розовые сопли и изжил эту свою смехотворную доверчивость, привезенную в Москву из Кобеляков. Крепкий урок преподал тебе Вишневой...

Первый — из трех главных уроков моей жизни. Два последующих преподали мне уже другие люди — близкий, как я думал — и тоже ошибочно, — друг и любимый наставник, в середине 90-х годов. Вполне хватило с меня этого опыта. Но первым стал — Вишневой. Аркадий и посоветовал мне, как себя дальше вести с «919» — и отнюдь не играть. Их переиграть невозможно, сказал он, но напротив: перевести все в букву закона — под благовидным, формальным предлогом — сессия и учеба — отказаться от этих якобы дружеских звонков и встреч в «Минске», потребовать вызывать меня, если понадобится, официальной повесткой, куда там они вызывают, на Лубянку или еще там куда-то... И вот такой немудреный рецепт оказался вполне действенным.

Наша последняя встреча в «Минске», 19 декабря 1978-го года, в день памяти святителя Николая Мирликийского, прошла уже в другом номере — в 315. Я выразил недоумение по этому поводу, на что Валёк сказал, что этим номером им разрешил попользоваться какой-то знакомый. Вероятно, там стояла более совершенная звукозаписывающая аппаратура. Если в нашу первую встречу они с Виктором Васильевичем разговаривали со мной о театре и даже о философии, то теперь, когда я сказал о том, что обо мне разнес по всему институту мой липовый друг Вишневой и в связи с чем я отказываюсь от дальнейшего общения с ними, эти приветливые ребята весьма изменились. В ход пошли прямые угрозы, пересыпанные отборным матом. Куда и девались разговоры о философии и литературе...

— Мы же — друзья, как вы все это время мне говорили, — я пытался даже иронизировать в темной мгле своего страха. — Как же так, Виктор Васильевич? Такие слова... Мы же прежде о театре с вами...

— Подожди, гребаный Сероштан, театр еще у тебя будет!..

И снова — град оскорблений и матерщины в два горла.

Но тут я уперся в свое: обо мне то-то и то-то сказал Вишневой. А для меня это — категорически неприемлемо, сколько бы вы меня ни запугивали...

— Скажи ему, что это он сам — осведомитель-сексот! — вот такой дан был мне на это ответ.

Ну и совет!..

В ход было пущено и отчисление из института, — а как же без этого? — и сломанная судьба: ты никуда не устроишься, тебя не будут печатать...

— Если я буду недостоин печататься по каким-то литературным критериям, — сказал на это я, — то так тому и быть. Я к этому готов.

На словах...

Ну, подобная бескомпромиссность и безоглядность свойственна юности. Как и безотчетная вера в то, что все как-то само собой образуется, минует, пройдет. Да и потом — в конце концов, я же не сделал ничего из ряда вон выходящего, закона не преступал, ничего, — да какого черта вы ко мне привязались?.. И потом — у меня уже был на виду образ жизни Аркадия: он ведь жил-поживал как хотел и как мог, колол лед на четной стороне Тверского бульвара, неподалеку от нового МХАТа, писал об экзистенциализме героев повестей Василя Быкова и пользовался общим уважением и авторитетом в нашей большой и шумной компании. Как-нибудь, подобно Аркадию, и я проживу — не убьют ведь меня эти гребанные «вальки». А что касается возвращения в Кобеляки, так меня осенью — временно, ясное дело, — прописали на следующие четыре года, до середины лета 1982 года. Иногородних студентов прописывали — сперва на год, и если ты не вылетал из института за чрезмерное пьянство или еще по каким-то причинам вроде бездарности и длительных прогулов в течение этого года, то со 2-го курса прописывали уже на последующие 4 года, до окончания института. Так что и здесь мне, можно сказать, повезло: штамп о прописке мне уже тиснули в паспорт, поэтому если бы меня по указке «вальков» отчислили из института, все равно в запасе у меня еще были три с половиной года, в которые много чего могло бы произойти. И никакая милиция меня бы не дернула за нарушение паспортного режима. Со временной пропиской я спокойно мог бы устроиться на какую угодно не очень презентабельную работу, да хоть к тому же Аркаше в Краснопресненское ПЖРО. Не пропаду. И это давало мне какую-то надежду. Так что при общей убогости моих карт, противостоящих в этой игре знатным козырям моей двоицы «919», я еще имел какие-то малые шансы если и проиграться, то не в пух и не в прах. С тем мы и расстались — под маты, угрозы и чуть ли не мордобой. Я твердо настаивал на вызове исключительно по повестке, как посоветовал мне Аркадий, и эта, казалось бы,

простецкая вещь подействовала на гэбистов, как красная тряпка на быка. Они всегда были *над* законом и сильны были одним нашим страхом, а я всего-навсего попросил их поступать *по* закону, и этого оказалось достаточно, как ни странно, для конечного освобождения от них.

Внутреннего освобождения.

Еще пару писем прислали они на адрес 9/11. В начале следующего 1979-го года пришла и повестка — в военкомат, который находился неподалеку от общежития. Я пришел в указанный кабинет. Там сидел морской офицер в парадной форме и с кортиком на боку. Он с некоторым удивлением изучал какое-то время мою повестку, явно не понимая, кто и зачем меня вызвал к нему. Тут как из-под земли выросли фигуры «валькóв», они перехватили повестку, и ошарашенному парадному моряку было сказано просто:

— Это — наш клиент...

В тесной военкоматовской комнатушке произошел примерно такой же разговор, как и в последний раз в «Минске» — те же угрозы, оскорбления, но на меня все это уже никак не подействовало: за спиной у меня был Аркаша, да и за эти полтора месяца, прошедшие с нашей последней встречи в «Минске», я уже вполне успокоился, укрепился и принял решение о своей жизни, приготовившись к самому худшему. И деваться было мне уже некуда. Потому угрозы и вопли уже проходили у меня мимо ушей, и я практически ничего не запомнил.

Валентина Георгиевича я больше никогда в жизни не видел, а вот со старшим товарищем, Виктором Васильевичем, я лоб в лоб однажды столкнулся на Тверском бульваре, напротив дома-музея Ермоловой. Был красный день календаря — то ли 1-е, то ли 9-е мая 1979 года. Праздный и разодетый уже по-летнему люд гулял по городским улицам и бульварам. Тут-то я издали признал серое, со смытыми чертами лицо Виктора Васильевича. Он шел навстречу мне в сопровождении убеленного сединами ветерана госбезопасности, увешанного от горла до пояса орденами-медалями. Ветеран важно, с достоинством что-то вещал о своих подвигах, вероятно, а Виктор Васильевич внимательно и учтиво слушал его, набираясь нового опыта у уважаемого старшего товарища. С ними были и жены. Я не удержался и поздоровался даже с какой-то ехидной издевкой, — ну а что мне было терять:

— Здравствуйте, Виктор Васильевич!..

Он смерил меня невидящим взглядом и ничего не ответил, продолжая все так же с почтением внимать ветерану.

Действительно, зачем ты был ему нужен? Отработанный материал. Человеческий шлак, обреченный на выброс. Ну а что с Вишневым?

После ночи, проведенной у Аркадия, я поехал в общагу и пришел к Александру:

— Саша, как ты мог так со мной поступить? Я думал — мы друзья!..

— А я тебя, Сероштан, другом никогда не считал, — ухмыльнулся он.

Это стало крушением еще одной твоей иллюзии: мало ли что и как ты там считаешь. А вот так — как оно есть на деле...

И добавил дословно о том, что никому не верит. И даже прочел мне краткий курс о том, что главный враг человеку — именно тот, кого он считает своим близким другом. Что и доказал мне на деле. И прочее, такое вот расхожее, простенькое, из кухонных воззрений, приправленное изрядной долей цинизма и шутовства, со смешками.

Мои эмоциональные всплески разбивались о такую вот несокрушимую логику:

— Я подумал и решил...

Вот это меня просто убило: он *подумал и решил*... Без всяких доказательств, без каких бы то ни было намеков на что-то, основываясь только на моих сетованиях на прессинг начала осени 1978-го года...

— Я подумал и решил: у нас на курсе должен быть стукач, осведомитель КГБ, — и раз тебя взяли они в оборот, как ты сам мне рассказывал, то вряд ли выпустят. Они так просто добычу не выпускают. Значит, ты и есть, Сероштан, соглядатай за нами за всеми. Получи и распишись...

— Но кто ты такой, чтобы так думать-решать?!.. — вспылил я. Но на том разговор наш и закончился.

А надо было, вероятно, просто дать ему в морду, — так, по-простому. Ну как же, как же, я совсем позабыл — вы же интеллигентные люди...

Мне казалось тогда, что как-то иначе мне удастся доказать всем, что Вишневой возвел напраслину на меня. Но, да, наверное, следовало начинать все-таки с мордобоя... Ну а сегодня я даже понимаю, что вся эта история со мной на самом деле была просто отвлекающим маневром «919», некоей дымовой завесой, и из-под удара, от вероятного разоблачения уводился настоящий осведомитель, может быть, их было даже и не-

сколько. Трудно судить о сокровенных тайнах Лубянки. Но Вишневой, действительно, сыграл по чужой партитуре, не зная о том.

До окончания института мы не здоровались больше друг с другом. Я ничего не знал, да и не хотел знать о нем, как, впрочем, вероятно, и он обо мне. Я просто вычеркнул его из своей жизни.

Я это умею, оказывается, делать.

В 2000-х годах, уже после того, как он умер в Крыму, ничего не дождавшись от жизни — ни при Советах, ни в перестройку, ни при диком капитализме независимой Украины, я прочел в мемуаре у Лены Черниковой, что у него и во время учебы еще были какие-то непонятные проблемы в институте. Как она пишет: *«он кого-то послал»*. Но что за этим стоит — даже Лена не знает, а если знает, то недоговаривает, и это вот *«послал»* все-таки похоже на уловку, некую недоговоренность. Лена же тогда писала в его защиту какие-то письма ректору Пименову, ходатайствовала о них с Аллой, чтобы их не выселили из 9/11, — тогда все благополучно закончилось, но все же с дипломом получилась какая-то закавыка. Все это оставалось мне совсем неизвестным, да и сегодня не особенно волнует меня. Я рассказываю о произошедшем с Вишневым со слов Лены, его душеприказчицы и его верного и благодарного друга. Она же и издала первую и единственную книжечку его стихов — спустя год после смерти.

Вишневого уже нет на земле. И я не знаю, понял ли он обо мне хоть что-то, и если понял, ощутил ли хоть какую-то вину за напраслину, которую Бог знает по каким причинам возвел на меня? Скорее всего, он и думать забыл обо мне. Впрочем, как и я о нем тоже, — даже мимолетное воспоминание в течение жизни о Вишневом только раздражало меня прогорклой, давней обидой. Но никакого злорадства я в себе вовсе не нашел, когда год спустя после его смерти наткнулся в интернете на эту давно изжитую новость. Поразился его убогой хибаре, в которой он провел свои дни, и едва узнал его на фотографии — высохшего, словно мумия, с жиденьким хвостиком на затылке, — от прежнего Вишневого, властителя дамских сердец и умов, ничего не осталось... Лена говорит, что он без устали все оттачивал и оттачивал свое поэтическое мастерство...

Которое никому так и не понадобилось...

Перед смертью привез из Крыма Лене в Москву свой архив... В Симферополе некому было оставить. Единственный его сын, живший в Тбилиси, отношений с ним не поддерживал никаких. Грустно все это. Но вместе с тем — и типично весьма для нашего брата-писателя. Заплатить целой жизнью — за тоненькую книжицу стихов... Да разве нормальный человек может вместить в свою голову такое?.. «Дар напрасный, дар случайный...» — вот что можно сказать о большинстве из нас, волею судьбы попавших с этими вот талантами и дарованиями сюда, на Тверской, 25. Отсюда и пьянство, и самоубийства, и ранние смерти — мало кто ведал, как ему предстоит прожить свою жизнь, а ведь жить было надо и что-то с этим вот даром своим делать, как-то его применять, реализовывать, приумножать, как в евангельской притче о талантах... А тут еще — помимо собственной лени, инертности и внешних помех — тут еще и разнообразные «вальки» и «919», а потом и жены, и дети, и их надо кормить-одевать...

И разъедающая душу и разум рефлексия...

Я иногда завидовал Саше Пудину из Саранска. Он как-то пожаловался мне:

— Что-то со мной не то происходит: я стал меньше писать — всего пять стихотворений в день получается...

Ну и в пику всем вам, умникам гребаным, Пудин сделал, вероятно, самую крутую карьеру: почитай о нем в Википедии и заткнись, Сероштан.

Тем временем события развивались своим чередом. Из дворников меня уволили, но все делалось грамотно: мой сосед по жилищу Герасим, художник-миниатюрист из Владимирской области — его брат, инвалид-колясочник, учился на заочном у нас и писал задорные комсомольские повестушки о покорении БАМа, — вздумал жениться на некрасивой, но хваткой девице из своих родных Вязников. Сперва она попросилась пожить на неделю — я переехал на несколько дней в 9/11, там у меня сохранялось место в комнате с Володей Тереладзе, затем дамочка решила подзадержаться; позже они завели даже большую собаку, которая кидалась на меня с лаем, едва я переступал порог нашей служебной квартирки за своими вещами и книгами. Позже сладкая парочка полюбовно договорилась с проректором по хозяйственной части Даниловым, и меня уволили, — даже мой доброжелатель-завхоз Иона Васильевич не смог меня защитить, и я отправился жить окончательно на улицу Добролюбова.

Через пару лет после окончания тобой института Данилова поймали на каких-то мошеннических махинациях, судили и посадили в тюрьму. «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде», как в Евангелии от Луки о твоем Герасиме сказано. Про-

шлепал ты комнату, Сероштан...

Новый руководитель нашего творческого семинара Николай Семенович Евдокимов, недолго совсем осмотревшись, внезапно потребовал от меня показать, что я такое пишу. Обычно один раз за семестр каждый из нас должен был представить на обсуждение рассказ или повесть, и осенью, при Федоре Колунцеве, я как раз и обсуждал свой рассказ под названием «Диско!» Готового у меня ничего пока не было — я писал большую молодежную повесть, которая только спустя десять лет стала моей первой книжкой — и сказал об этом Николаю Семеновичу. Но он настоял: покажи, и все тут. Надо думать, в силу тут вступили особые благопожелания моих незабвенных «вальков» — они ведь обещали мне неприятности и держали свое слово крепко. Пришлось мне в очередной вторник приволочь в институт из общаги ворох исписанных листов и пару больших общих тетрадей. Но почерк у меня был таков, что я и сам порой не понимал отдельных слов, мною же и начертанных. И Евдокимов, полистав эту груду, потребовал все это перепечатать на пишущей машинке, чтобы он невозбранно смог все это прочесть. Я взмолился:

— Помилуйте, Николай Семенович, эта повесть в глубокой работе, и до конца еще далеко: какой смысл тратить время и силы на перепечатку?..

Но логические мои построения были отметены: Евдокимов настоял на своем.

К февралю черновики свои я перепечатал и рукопись отдал на суд Николаю Семеновичу. Пусть я и недалек вовсе разумом, но ситуацию понимал: «вальк*а*м» из 919 номера гостиницы «Минск» требовался легальный повод отчислить меня из Литинститута. Как прежде женитьба Герасима — чтобы убрать меня с территории Дома Герцена и с Тверского бульвара. Понятно, что это не «вальки» принудительно женили Герасима на вязниковской Нине, но они — как в борьбе айкидо — использовали чужую кинетическую энергию в своих целях. Так и с Николаем Семеновичем произошло. Кто-то ответственный заострил его интерес к одному из студентов — тщательно прокнокать, что он пишет такое и как, и если не пишет совсем — отчислить, или если пишет недостаточно хорошо — тоже отчислить, или пишет не то, о каких-нибудь пьянках-порнухе, — тоже... Вариантов здесь вроде как не было никаких. Экзамены сдавал я успешно — в оценочной ведомости моей, прилагающейся к диплому, стоит всего одна «тройка» — по практической грамматике. Отчислить меня можно было, следовательно, только по кафедре творчества.

Снова — как в борьбе айкидо...

Через одну или две недели, в очередной вторник, Евдокимов вошел с непроницаемым видом в аудиторию, где собрались наши семинаристы — очники и заочники. Я, конечно же, уже внутренне попрощался на всякий случай с Тверским, 25. Я ведь прекрасно давал отчет в том, что за герои действуют на страницах моей незаконченной повести — им не было места под алыми стягами строителей коммунизма, увы. Неудачники-музыканты, провинциальные торговцы иностранными пластинками и тряпьем, маета и страдания от одиночества в убогом углу СССР вроде нашего «Красного свиновода» — все, подсмотренное некогда мною в Кобеляках и в Кременчуге, все, к чему когда-то и я сам имел касательство, — в общем, мое поражение в правах и отчисление были практически предопределены.

Николай Семенович вытащил из портфеля мою рукопись и положил на стол перед собой. Пожевал губами, помолчал, затем обвел присутствующих взглядом и сказал:

— Я прочел незаконченную повесть Сероштана. Говорить о ней я не стану — пусть закончит ее. Ну а пока... Пока я через Литфонд выписал тебе, Сероштан, материальную помощь — 100 рублей...

Такого в институте еще, кажется, не бывало. Конечно, мне и хвастаться этой матпомощью было не надо — слух о поощрении разнесся мгновенно. И уже в следующий вторник на семинаре драматургии, который вел Виктор Розов и Ирина Вишневская, Володя Малягин поставил перед своими руководителями вопрос о том, чтобы и драматургов, подобно мне, поощряли в Литфонде. Розов посетовал при встрече Евдокимову на кафедре творчества о том, что тот себя повел весьма неосмотрительно, создав со мной нежелательный и разорительный для бюджета Литфонда прецедент.

Что же все-таки случилось — безотносительно к твоей жалкой повести, которую ты сегодня ни в грош не ставишь?

То, что произошло с Евдокимовым, могло произойти только здесь, в столице империи. Если бы я в такой ситуации оказался в Киеве, или в Харькове, или еще в каком угодно университетском крупном городе СССР, местные офицеры ГБ давным-давно закатали бы меня в асфальт, и, поверь, в добровольных помощниках у них не было бы недостатка. Здесь же, в Москве, идеологическая цепь, на которой власти держали писателей и деятелей искусства, несколько проржавела, и даже при об-

щей продажности модно было слегка фрондировать, держать фигу в кармане: да, я вам напишу за деньги очередную сагу о Ленине или о продовольственной программе — я все-таки профессионал в этом смысле, но вы знаете, что я знаю вам цену, и если мне за то ничего не будет, могу даже где-нибудь брякнуть что-то вроде того, как герой кинофильма «Сталкер»: «Странно, частной собственности нет, а благосостояние растет...» — и в кинозале после этого у народа замирали сердца: Боже! Как же это пропустила цензура?!.. «Мы ждем перемен!» И потом: невероятная смелость Театра на Таганке — резали правду-матку не в бровь, а в глаз. А в зале зрителями были почти одни... офицеры госбезопасности разного ранга. Балдели от свободы, которую они же с барского плеча и позволяли Юрию Любимову.

Ну, тут другое... В 80-х годах на Кузнецком мосту, прямо под окнами Комитета госбезопасности, с лотка продавался любому желающему «Архипелаг» Солженицына. То же — с Таганкой. То же — позже — и с новыми партиями вроде ЛДПР, с патриотическими движениями — вроде «Саюдиса», «Руха» и васильевской «Памяти», а затем и РНЕ. «Вальки» работали на упреждение. Но вот только что получилось? Разрушили государство и развязали гражданские войны...

Конечно, не было недостатка в конченных мерзавцах, один из которых, певец мартенов и домн, после Евдокимова возглавил наш семинар и неуклюже пытался исправить допущенную Евдокимовым ошибку по моему поводу, но, кажется, все уже понимали, что никакого коммунизма не будет — не только в 80-м году, как обещал нам Хрущев, но совсем никогда, — и потому — цинично — брали от властей щедрые гонорары за литературную халтуру, которая прямиком из типографий отправлялась в утильсырье и в макулатуру, грызли глотки друг другу за квартиры и дачи, жили годами на всем готовом в литфондовских домах творчества — от Прибалтики до Закавказья и Крыма, — но при всем этом иронически относились ко всем этим бесчисленным коммюнике и материалам съездов КПСС и прочей идеологической лабуде, шутили над «Лёней», его бровями и неизбывным косноязычием, втихаря читали эмигрантские книжки, — ну что же, оправдывали они себя, сидя в роскошных громадных квартирах на Астраханском и на Безбожном, наполненных хрусталем, картинами и антикварiатом, или лежа в шезлонге под переделкинской столетней березой на добром гектаре драгоценной земли в виду трехэтажного дома, полученного от Литфонда не без интриг и борьбы, но все же бесплатно, или мучаясь в заграничных вояжах, как Евтушенко — в таком мире живем мы, увы... «Смирись, гордый человек», как Достоевский о том завещал, и надейся, что когда-нибудь и здесь — *в этой стране* — воссияет свобода.

Один из этих борзописцев с Безбожного написал как-то открытое письмо Горбачеву: посчитайте, сколько бы зарабатывал такой писатель, как я, на Западе!.. Да миллионы, а здесь я чуть ли не умираю от голода...

Николай Семенович прошел войну, написал много книг, достиг какой-то доинтернетной известности, все у него уже было — и квартиры, и дачи, и ордена, и тиражи, которые ныне не снились какому-нибудь Акунину, и гонорары, — что ему было трепетать от каких-то там замухрышек из «Минска»... Да, он проверил мои писания-черновики по просьбе-приказу и вот показал этим «валькам» присущее место — вынул из кармана дулю и дал им понюхать: не только не выгнал меня, как того им хотелось, но даже еще — поощрил материально. И... утерлись «вальки»...

Но мне как-то не особо охота смеяться...

И все-таки, все-таки... С замедлением по причине моего кобелякского происхождения и общей провинциальной непуганности до меня доходила некая ненормальность, даже дикость сложившейся ситуации. Я ведь никогда не был настроен критически ни к советской власти, ни к существующим общественным институтам, тем более не был антисоветчиком никаким. Я родился и жил в социалистическом обществе и делал то, что делали все — был октябренком, пионером и комсомольцем, безропотно работал наладчиком швейных машин на нашей фабрике имени Розочки Люксембургочки за мизерную зарплату, как и все, меня окружавшие... Больше того, когда в 14 лет я с ребятами-одноклассниками пришел в горком поступать в ВЛКСМ, а до того несколько дней зубрил то ли устав, то ли торжественную клятву на верность делу Ленина и партии, я помню свое волнение на высоких ступенях горкома: а вдруг приемная комиссия зарубит меня по каким-то причинам? По нетвердому знанию устава или каких-то памятных дат? Помню свое волнение... Все, конечно же, обошлось, — дело не в этом, а в том, что я тогда был другим — нормальным таким чуваком из колхоза, любителем, правда что, музыки Beatles и других британских рок-групп. Ну, играли мы с Сержем Плахтиенко в местечковых таких дадаистов, сидя с залитыми пивом листками стихов в пивбаре на берегу Ворсклы, — вот и все мое инакомыслие, если это можно считать таковым. При всем этом я хотел идти служить в армию и весьма

печалился, что по каким-то причинам меня от призыва к призыву не брали. Конечно, армия стала для меня жизненной школой, и многое из идеалистических воззрений моих потеряло свой флер.

Дадаизм разбился о стену одиночной камеры гарнизонной гауптвахты, как лампочка?

Вернувшись домой, в Кобеляки, я немного жалел об отданных *почетной обязанности* двух годах своей юности и об иллюзиях своих тоже, наверное, сожалел. А вот весьма сильно я стал жалеть тогда, когда меня ни за что ни про что взяли в железные тиски эти ребята из «Минска». Тут все было просто: мало у тебя, Сероштан, отнять два армейских года жизни, но мы, данной нам властью, вовсе не прощаем и не разрешаем тебя, но и внятного будущего лишим еще за некие вины: сделаем либо Иудой, либо отверженным, изгнанным отовсюду, изгоем, — вот как аукнулась мне моя армейская служба в читинской тайге... Кто мог такое представить?..

Казалось бы — ну за что?.. Но ответ никакой был и не нужен. Никто не трудился объяснять мне логику этого моего наказания молохом слепой и безвидной государственной власти. Один авторитетный священник сказал мне как-то: «делай что хочешь, но не попадайся», — примерно такой же ключ к жизни, как прежде еще, полученный от митрополита сегодняшнего Тихона Шевкунова. Я же — попался. Увы. Ни на чем, — на пустоте, пустяке, неразумности, — сразу же и забыв о брякнутом в армейской курилке сотоварищам по РЛС.

Но коготок увяз. И — на всю твою жизнь, Сероштан...

Учеба моя продолжалась. К зимней сессии 3-го курса я неожиданно ощутил, что институт мною уже совершенно изжит, что он все, что мог, дал мне, и, продолжая пребывать здесь, посещая лекции, обсуждая наши опусы на семинарах и прочее, я просто теряю время, гублю его безвозвратно, трачу в неразумии в этой вот инертности повседневности, — куда-то совершенно в иное стремилась душа, но куда — я и теперь не в состоянии объяснить. Сказать по-комсомольски-ошанински: в жизнь, — ну да, может быть, только бы еще понять, что такое жизнь и где она обитает. Разве здесь, на Тверском, я не живу?.. Кое-как, но все же живу... Надвигался на меня очередной психологический кризис, метафизическая тьма сгущалась в душе, а извне — с одной стороны теснили «вальки», с другой — угнетал вакуум, образовавшийся вокруг меня благодаря судьбоносной клевете Вишневого.

Но была и малая радость за чужую удачу — к зиме 1979-го приняли к постановке в театре «Современник» пьесу моего друга Володи Малягина «НЛО» — событие, надо сказать, совершенно невероятное по тем временам. Тем более, что Володя был урожденным тюменцем и вовсе не принадлежал к московской театральной тусовке. Мы живо обсуждали перипетии того, что происходило вокруг «литования» пьесы, ходили на прогоны, которые меня потрясли. Кажется, до «НЛО» я и в театре-то никогда толком не был. Не считать же театром новогодние постановки в кобелякском ДК им. Ворошилова под бессменным художественным руководством вечно живого, как Ленин, Сократа Ивановича Фрумкина. Главную роль в спектакле Галины Волчек играла потрясающая Марина Неёлова. После премьеры Володю показали по телевидению — и на интервью ему не в чем было пойти, так что мне пришлось одолжить ему свои джинсы. Смеялись потом с Сережей Арцибашевым, в ту пору студентом ГИТИСа, впоследствии известным актером, режиссером и руководителем двух московских театров: вот — показали на весь СССР на Малягине твои джинсы... В следующий раз, может, покажут и тебя, Сероштан...

Следующего раза — не будет...

На зимних каникулах мы втроем — Володя, Женя Перемышлев и я — отправились в занесенную снегами Чувашию в гости к нашему другу Пете Львову. Он недавно перевелся на заочное отделение и вернулся из Москвы учительствовать в родные места. Добрые и гостеприимные люди, простые и веселые, бани «по-черному», теплая водка, как чай, — бутылку специально ставили на припечек подле устья русской печи — «полезная в таком виде для здоровья», как нас уверяли в том чуваши, учителя и селькоры колхозных многотиражек со всего Канашского района, съехавшиеся в Петину деревню Шивбоси посмотреть на заезжую московскую знаменитость, темные непроглядные ночи, сугробы в рост человека, высокие крупные звезды над этой благословенной землей... Все пройдет, говорил я себе, и эти «вальки», и наше студенчество, начинавшее внутренне себя изживать, как-то сложится и как-то пройдет и моя жизнь, а эти вот звезды останутся...

Все текло, и все изменялось, изменялся и я. Несмотря на фрондерское сторублевое поощрение Евдокимова, я все-таки понимал, что в этом мире — официальной помпезной литературы — мне ходу не будет. Да и способен ли я писать что-то о коммунизме или

о передовиках производства? Но по природной малороссийской опасливости я все-таки не решился «уходить в жизнь» со студенческой скамьи, как подумывал, да и потом — мне стыдно было бы перед моими родителями так поступить: они, особенно мать, весьма гордились моим пребыванием в таком маленьком и особенном во всем институте, в Москве.

Но крепла в душе и обида на все, что произошло к этому времени со мной: мое зыбкое будущее, мою не свершившуюся еще судьбу просто так, тщанием какого-то читинского особиста Сергеева, которому нечем было заняться в тайге, кроме как рассматривать свои ногти или подлавливать через соглядатаев дураков-срочников, мелющих в курилке глупыми языками, сломали просто-напросто о колено, выкинули на обочину, — и зачем я только пошел в эту армию? Все равно не было там от меня никакого проку. Потерял годы жизни, а теперь еще потерял и нормальную, простую судьбу.

К пятому курсу мое будущее уже определилось вполне: оно просто напрочь отсутствовало, и с этим ничего нельзя было поделать. Кто или что было причиной тому — «919»-е, я сам со своей леностью и инертностью или заразительный пример Аркадия Суслова и царящего вокруг него неунывающего молодого нонконформизма, теперь уже трудно сказать. Скорее всего, каждый внес свою лепту — и «вальки», и я сам, и Аркаша. Но и я стал к 1982-му году другим человеком — страх медленно уходил из души, уступая место разве что угрюмой готовности принять новые испытания. Ну а что я тут мог сделать? Плетью обуха не перешибить, и от предопределенного тебе не спрятаться никуда — тавро «неблагонадежного», или как там пометили мое дело писарчуки в анналах 5-го отдела Лубянки, навсегда обрекало меня на незавидное существование на обочине общества развитого социализма, несущегося со скоростью локомотива в светлое будущее, о котором мечтали предыдущие поколения советских людей. Ну а раз мне не было на что надеяться и чем дорожить, я перестал не то что бояться, а даже и опасаться, и не только сам читал самиздат, но и давал его читать своим институтским друзьям, притаскивая от Аркадия в общежитие. Потряс, перевернул сознание солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ», исследование о «Большом терроре» Роберта Конквиста, великолепная проза недавних эмигрантов вроде Юрия Милославского и Саши Соколова, не нашедших для себя места в советском официозе, «Окаянные дни» Бунина, романы Набокова... Все это существовало и передавалось из рук в руки благодарных читателей на ночь или на несколько дней без всякой отмашки серых «вальков» и советских издательств, заполнявших громадные магазины вроде новоарбатского «Дома книги» тоннами макулатуры, — значит, и так можно было и жить, и писать, и на что-то надеяться. *Жить не по лжи*, как настойчиво советовал молодежи А.И. Солженицын, и *оставаться собой*, как надписал мне на своей книжке, присланной в Кобеляки еще в далеком 1973-м году, Виктор Иванович Лихоносов. Вменить ни во что всю эту лубянскую нечисть и радужные надежды на легальное будущее, на редакционную работу в каком-нибудь альманахе или в журнале, — Бог со всем этим. Как-нибудь буду жить и без этого.

Может быть, и таким образом «закалялась сталь», выковывался характер и зачиналось то, что стало в конце концов моей жизнью. И без этой вот безнадеги, без этих ударов от «919»-х из гостиницы «Минск», без жизненного урока, преподанного мне Вишневым, кем бы я стал? Бесхребетной амебой с пустыми глазами и с ошанинской песней о Ленине на бескровных слизких устах? Ходил бы с красным полотнищем на зюгановских «патриотических» митингах? Лил бы крокодиловы слезы по газводе за копейку и о вкусном «пломбире» за 13 копеек при приказавшем долго жить социализме с незабываемым человеческим лицом? Потому, вероятно, и могу подписаться под этой бессмертной фразой Сергея Михалкова, нашего литературного генерала, сказанной во время суда над Синявским и Даниэлем:

«Слава Богу, что у нас есть КГБ!»

Окончание следует